



# РЭЙ БРЭДБЕРИ

К ЗАПАДУ ОТ ОКТЯБРЯ

ГЛАВНОЕ — СПРЫГНУТЬ С ОБРЫВА; ПО ПУТИ  
ВНИЗ У ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР. ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР





# РЭЙ БРЭДБЕРИ

К ЗАПАДУ ОТ ОКТЯБРЯ

Санкт-Петербург  
ДОМИНО

Москва  
ЭКСМО

2008

УДК 82(1-87)  
ББК 84(7США)  
Б 87

Ray Bradbury

## THE TOYNBEE CONVECTOR

Copyright © 1989 by Ray Bradbury

Перевод с английского *Елены Петровой*

Составители серии *Александр Гузман, Александр Жикаренцев*

Оформление *Сергея Шикина*

Оригинал-макет подготовлен Издательским домом «Домино»

**Брэдбери Р.**

**Б 87** К западу от Октября: Роман / Рэй Брэдбери; [пер. с англ. Е. Петровой]. — М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. — 416 с. — (Интеллектуальный бестселлер).

ISBN 978-5-699-27405-5

В спальне захолустного мотеля на почетном месте стоит надгробный камень.

Древний ирландский призрак преследует знаменитого кинорежиссера всей силой своей нерастраченной любви.

Герою-авиатору Первой мировой войны мнится, что ему выставлен счет за былые победы.

От современного классика американской литературы — двадцать три истории о любви и смерти.

УДК 82(1-87)  
ББК 84(7США)

© Перевод, примечания.  
Е. Петрова, 2008

© Оформление.  
ООО «ИД «Домино», 2008

© Издание на русском языке.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2008

ISBN 978-5-699-27405-5

*А эту книгу с любовью посвящаю моим внучкам  
Джулии и Клэр и Джорджии и Мэллори*



## *Конвектор Тойнби*

— Класс! Блеск! Ай да я!

Роджер Шамуэй плюхнулся на сиденье вертолета, пристегнул ремень, запустил пропеллер и устремился к летнему небу на своей «Стрекозе» модели «Супер-6», держа курс на юг, в сторону Ла-Холли.

— Вот повезло так повезло!

Его ждала невероятная встреча.

Человек, который совершил путешествие в будущее, после векового молчания согласился на интервью. Сегодня ему стукнуло сто тридцать лет. А ровно в шестнадцать часов по тихоокеанскому времени исполнялось сто лет с момента его уникального путешествия.

Именно так! Столетие тому назад Крейг Беннет Стайлз помахал рукой, шагнул в свой аппарат, так называемый мега-хронометр, и покинул на-

стоящее. С тех пор он так и остался единственным за всю историю человечества путешественником во времени. А Шамуэй стал единственным в истории репортером, который удостоился от него приглашения на чашку чая. Но помимо этого?.. Не исключено, что старик собирался объявить о втором — и последнем — путешествии во времени. Он сам на это намекнул.

— Эй, дед! — воскликнул Шамуэй. — Мистер Крейг Беннет Стайлз, я уже на подходе!

«Стрекоза», чуткая к его восторгам, оседлала ветер и понеслась вдоль побережья.

Старик поджидал у себя в Ла-Холье, на крыше «Обитатели времени», примостившейся возле кромки утеса, откуда стартовали воздухоплаватели. В вышине пестрели алые, синие и лимонно-желтые дельтапланы, с которых доносились мужские голоса, а на краю земли толпились девушки, что-то кричавшие в небо.

В свои сто тридцать лет Стайлз был еще хоть куда. При виде вертолета он сощурился, и выражение лица у него стало точь-в-точь как у парящих в воздухе простодушных Аполлонов, которые рассыпались в разные стороны, когда вертолет нырнул вниз.

Шамуэй завис над крышей, предвкушая желанный миг.



К нему было обращено лицо человека, который увидел во сне очертания городов, испытал непостижимые озарения, запечатлел секунды, часы и дни, а потом бросился в реку веков и поплыл, куда задумал. Бронзовое от загара лицо именинника.

Ведь как раз в этот день, сто лет назад, Крейг Беннет Стайлз, только-только завершивший путешествие во времени, обратился по каналам «Телстара» к миллиардам телезрителей во всем мире, чтобы описать им будущее.

— Мы своего добились! — сказал он. — У нас все получилось! Будущее принадлежит нам. Мы заново отстроили столицы, преобразили города, очистили водоемы и атмосферу, спасли дельфинов, увеличили популяцию китов, прекратили войны, установили в космосе солнечные батареи, чтобы освещать Землю, заселили Луну, Марс, а вслед за тем и Альфу Центавра. Мы нашли средство от рака и победили смерть. Мы это сделали — слава богу, мы все это сделали! Да воссияют будущего пики!

Он показал фотографии, продемонстрировал образцы, предоставил пленки и диски, аудиокассеты и видеозаписи своего невероятного турне. Мир сошел с ума от радости. Мир с ликованием бросился навстречу своему будущему, мир поклялся спасти всех и вся, не причиняя вреда живым тварям на суше и на море.

Воздух огласили приветственные крики старика. Шамуэй ответил тем же, и по его велению «Стрекоза» пошла на посадку в облаке летней прохлады.

Крейг Беннет Стайлз, ста тридцати лет от роду, сделал широкий, энергичный шаг вперед и, как ни удивительно, помог молодому репортеру выбраться из «вертушки», потому что Шамуэй, пораженный такой встречей, внезапно почувствовал дрожь в коленках.

— Даже не верится, что я здесь,— сказал Шамуэй.

— Здесь, где же еще,— засмеялся путешественник,— и как раз вовремя. Не ровен час я рассыплюсь в прах и увеюсь с ветром. Закуски уже на столе. Полный вперед!

Чеканя шаг, Стайлз двинулся вперед под мелькающей тенью винта, словно в кинохронике из далекого будущего, которое странным образом уже кануло в прошлое.

Шамуэй потрусил следом, как дворняжка за победоносной армией.

— Какие будут вопросы? — Старик ускорил ход.

— Во-первых,— выдохнул Шамуэй, еле поспевая за ним,— почему спустя сто лет вы нарушили молчание? Во-вторых, почему выбрали меня? В-третьих, какое эпохальное заявление будет сде-

лано сегодня, ровно в шестнадцать часов, когда ваше молодое «я» прибудет из прошлого, когда — на какой-то быстротечный миг — вы окажетесь в двух местах одновременно, когда две ваших ипостаси, прежняя и нынешняя, парадоксальным образом сольются воедино, ко всеобщей радости?

Старик рассмеялся:

— Ну, ты и завернул!

— Прошу прощения.— Шамуэй покраснел.— Домашняя заготовка. Ну, не важно. В общем, к этому и сводятся мои вопросы.

— Скоро получишь ответы.— Старик тронул его за локоть.— Всему... свое время.

— Извините, я немного волнуюсь,— признался Шамуэй.— Как-никак, вы — человек-загадка. Вас знают на всем земном шаре, ваша слава безгранична. Вы повидали будущее, вернулись, рассказали о своем путешествии — а потом отгородились от мира. Нет, если быть точным, вы месяц-другой разъезжали по всему свету, мелькали на экранах, написали книгу, подарили нам великолепный двухчасовой телефильм, но после этого ушли в добровольное заточение. Конечно, машина времени до сих пор выставлена у вас на первом этаже, и посетителям ежедневно, в полдень, предоставляется возможность ее осмотреть и потрогать. Но вы отказались пожинать плоды личной славы...

— Это не так. — Старик все еще вел его по крыше. Внизу, среди зелени, уже садились другие вертолеты, которые доставляли телевизионное оборудование самых разных компаний, чтобы можно было запечатлеть фантастическое зрелище, когда машина времени появится из прошлого, зависнет в небе и унесется в другие города, прежде чем опять кануть в прошлое. — Как создчий, я по мере сил участвовал в создании того самого будущего, которое увидел в молодости, посетив наше золотое завтра!

Они помедлили, наблюдая за кипящими внизу приготовлениями. В саду накрывали огромные фуршетные столы. С минуты на минуту ожидалось прибытие политических деятелей мирового масштаба, которые пожелали выразить признательность — возможно, в последний раз — этому легендарному, почти мифическому путешественнику.

— Пошли, — сказал старик. — Хочешь посидеть в машине времени? Такое еще никому не дозволялось, ты и сам знаешь. Хочешь стать первым?

Ответа не потребовалось. От старика не укрылось, как заблестели и увлажнились глаза молодого гостя.

— Да ладно тебе, — забормотал старик. — Будет, будет, чего уж там...

---

Стеклянная кабина лифта скользнула вниз и перенесла их на цокольный этаж, где посреди белоснежного зала стоял...

Умопомрачительный аппарат.

— Ну вот.— Стайлз тронул какую-то кнопку, и пластиковый фугляр, сто лет защищавший машину времени, отъехал в сторону; старик кивнул.— Залезай. Садись.

Шамуэй медленно пошел к машине.

Стайлз тронул еще одну кнопку, и машина, вспыхнув изнутри, стала похожей на затянутую паутиной пещеру. Она вдыхала годы и тихо выдыхала воспоминания. По ее хрустальным венам летали призраки. Великий бог-паук за одну ночь соткал для нее ковры. Она была обитаемой; она была живой. Ее механизм омывали невидимые приливы и отливы. В ее чреве хранился жар солнц, таились фазы лун. С одного края, вся в клочьях, металась осень, а с другого подступали снежные зимы, которые влекли за собою весенние цветы, чтобы опустить их на поляны лета.

Не в силах произнести ни звука, молодой репортер вцепился в подлокотники мягкого кресла.

— Ты не бойся,— приободрил его старик.— Я же не отправляю тебя в путешествие.

— Да я бы не возражал,— отозвался Шамуэй. Старик взгляделся в его лицо.

— Верю. Ты похож на меня — каким я был сто лет назад. Ни дать ни взять мой названный сын!

Тут молодой гость прикрыл глаза; ресницы поблескивали влагой, а витавшие со всех сторон призраки сулили бессчетное множество завтрашних дней.

— Что скажешь? Как тебе нравится мой «конвектор Тойнби»? — порывисто заговорил старик, отгоняя грезы.

Он отключил подсветку. Репортер открыл глаза.

— «Конвектор Тойнби»? Что это?..

— Ага, еще одна загадка? Так я про себя зову этот аппарат — в честь великого Тойнби, блестящего историка, который сказал: любая общность, любая раса, любая цивилизация, которая не стремится поймать будущее и повлиять на него, обречена превратиться в прах, остаться в прошлом.

— Он прямо так и сказал?

— Примерно. Да. Так вот, можно ли выдумать лучшее название для моей машины? Ау, Тойнби, где ты там? Вот тебе ловушка для будущего!

Старик схватил гостя за локоть и вытянул из кабины.

— Хорошего понемножку. Времени у нас в обрез. Сюда вот-вот пожалуют сильные мира сего. А потом Стайлз, ветеран путешествий во времени, сделает последнее эпохальное заявление! За мной!

---

Вернувшись на крышу, они посмотрели вниз, где уже собирались знаменитости и полузнаменитости со всего света. На подъездах образовались пробки, небо заслонили вертолеты и бипланы. Дельтапланам не осталось места; они, как стадо цветных птеродактилей, уже давно томились на краю обрыва, сложив крылья и подняв носы к облакам.

— Надо же, — прошептал старик, — все это — *в мою честь*.

Репортер взглянул на часы:

— Без десяти четыре, начинаем обратный отсчет. Близится великое прибытие. Уж извините, но это я сочинил еще на прошлой неделе, когда писал о вас материал для «Новостей». Прибытие и отправление, которые слились в единый миг, когда вы, шагнув сквозь время, изменили будущее всего мира — от ночной тьмы к свету дня. Но меня преследует один вопрос...

— Говори какой?

Шамуэй уставился в небо:

— Когда вы двигались вперед по ходу времени, неужели никто не замечал вашего прибытия? Как вы думаете, неужели ни один человек, задрав голову, не увидел, как в воздухе завис ваш аппарат — сначала здесь, потом над Чикаго, над Нью-Йорком и Парижем? Ни одна живая душа?

— Как тебе сказать,— ответил создатель «конвектора Тойнби». — Полагаю, меня просто не ждали! Если кто-то и заметил нечто странное, откуда ему было знать, что это за штукавина! К тому же я соблюдал осторожность, нигде подолгу не задерживался. Много ли мне было нужно: снять на пленку перестроенные города, чистые моря и реки, свежий, не знающий смога воздух, неукрепленные рубежи, спокойную жизнь всеобщих любимцев — китов. Я перемещался стремительно, фотографировал быстро и пулей помчался назад, против течения времени. Как ни парадоксально, сегодня все будет иначе. Миллионы и миллионы глаз дружно устремятся вверх. Каждый человек в бескрайней толпе будет переводить взгляд — разве не так? — с желторотого авантюриста, сгорающего в небе, на старого дурака, все еще гордого своей победой.

— Это правда,— сказал Шамуэй.— Так и будет!

Раздался хлопок. Шамуэй оторвался от зрелища людской толчеи на окрестных площадках, от кружения летающих машин, потому что Стайлз откупорил бутылку шампанского.

— Наш приватный тост на приватном празднике.

Взяв бокалы, они ждали заветного мгновения, за которое полагалось выпить.



— Осталось пять минут, продолжаем обратный отсчет. А почему, — спросил молодой репортер, — никто, кроме вас, не совершал путешествий во времени?

— Да потому, что я сам положил этому конец, — ответил старик, перегибаясь через ограждение крыши и глядя на толпы собравшихся. — Осознал, чем это чревато. Нет, я-то вел себя разумно, не забывая о последствиях. Но нетрудно представить, какой начнется кавардак, если все кому не лень повалят в кегельбаны времени и будут сбивать кегли направо и налево, повергать в ужас туземцев, распугивать горожан, вмешиваться в судьбу Наполеона или воскрешать Гитлера и ему подобных? Боже упаси! Правительство, разумеется, согласилось — вернее, потребовало, чтобы «конвектор Тойнби» стоял на вечном приколе. Сегодня ты стал первым и последним человеком, чьи отпечатки пальцев останутся на его рычагах. Десятки тысяч дней аппарат находился под надежной охраной, чтобы его не украли. Что там со временем?

Шамуэй посмотрел на часы, у него перехватило дыхание:

— Осталась одна минута, продолжаем обратный отсчет...

Теперь Шамуэй стал отсчитывать вслух секунды, старик отсчитывал вместе с ним.

Они подняли бокалы с шампанским.

— Девять, восемь, семь...

Внизу наступила мертвая тишина. Небо дышало ожиданием. Телекамеры устремились кверху, готовые начать слежение.

— Шесть, пять...

Они чокнулись.

— Четыре, три, две...

Сделали первый глоток.

— Одна!

Оба со смехом выпили еще. Потом взглянули на небо. Золотистый воздух над береговой линией Ла-Хольи замер. Настал миг великого прибытия.

— Оп! — выкрикнул молодой репортер, словно фокусник на манеже.

— Оп,— мрачно повторил Стайлз.

Никакого эффекта.

Прошло пять секунд.

Небо зияло пустотой.

Прошло десять секунд.

Воздушная стихия не дрогнула.

Прошло двадцать секунд.

Ничего.

Не выдержав, Шамуэй вопросительно посмотрел на старика, стоявшего рядом.

Стайлз выдержал его взгляд, повел плечами и сказал:

— Я солгал.

— Что? — вскричал Шамуэй.

В толпе началось волнение.

— Я солгал,— без обиняков повторил старик.

— Не может быть!

— И тем не менее,— сказал путешественник во времени.— Никуда я не летал. Просто обставил все так, чтобы все поверили. Машины времени нет и в помине — есть только ее подобие.

— Как же так? — Репортер в полной растерянности схватился за перила.— Как же так?

— Вижу, у тебя на лацкане закреплен микрофон. Включай. Да. Годится. Пусть все слышат. Поехали.

Старик допил остатки шампанского, а потом заговорил:

— Все потому, что я рос в такое время — в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы,— когда человечество потеряло веру в себя. Я воочию видел это неверие: у меня на глазах разум утратил разумное стремление к выживанию; от этого мною овладела тревога, потом апатия, потом злость. Везде и всюду, в том, что я видел и слышал, сквозило сомнение. Везде и всюду маячил крах. В профессии — безысходность, в размышлениях — тоска, в политике — цинизм. А если не скука и не цинизм, то воинствующий скепсис и ростки нигилизма.

Старик умолк, припомнив что-то еще. Он нагнулся, чтобы извлечь из-под стола коллекцион-

ную бутылку красного бургундского с этикеткой 1984 года. С осторожностью вытаскивая старинную пробку, он продолжил свой рассказ.

— Куда ни кинь — просвета не было. Экономика пришла в упадок. Земля превратилась в помойку. Главным настроением стала меланхолия. Невозможность перемен стала популярной идеей. Девизом стал конец света... Все потеряло смысл. Ложишься спать в одиннадцать, устав от мрачных вестей, просыпаешься в семь, а вести — еще хуже. Весь день барахтаешься в пучине. Ночью то-нешь в омуте бед и напастей. Ох!

Это пробка с тихим хлопком выскочила из горлышка. Нынче 1984 год не сулил никаких бед, можно было дать вино «подышать». Путешественник втянул носом аромат и одобрительно кивнул, прежде чем рассказывать дальше.

— На горизонте появились не только четыре всадника Апокалипсиса, готовые обрушиться на наши города; с ними был пятый всадник, пострашнее прочих: отчаяние, кутаясь в темный саван краха, созывало прошлые беды, нынешние поражения, будущее малодушие. Под градом черных плел, без единого светлого зерна, какую жатву готовил человечеству пресловутый двадцатый век?.. Луну предали забвению, забытыми оказались и красные пески Марса, и гигантский глаз Юпите-

ра, и фантастические кольца Сатурна. Мы не ждали утешения. Мы рыдали над могилой ребенка, и этим ребенком были мы сами.

— Неужели это правда? — тихо спросил Шамуэй.— Всего сто лет назад?

— Чистая правда.— Будто в подтверждение своих слов, путешественник поднял бутылку. Плеснув себе немного вина, он пристально изучил его на свет, вдохнул аромат и продолжил: — Ведь ты смотрел хронику того времени, читал книги. Ты и без меня это знаешь. Ну, разумеется, были и яркие моменты. Когда Солк изобрел вакцину от полиомиелита, спасшую детские жизни во всем мире. Когда «Игл» опустился на Луну, позволив сделать гигантский скачок для всего человечества. Но в умах и на устах большинства оставался пятый всадник, исподволь подгоняемый вперед. Временами казалось, он вот-вот одержит верх. И тогда люди могли бы с мрачным удовлетворением сказать, что их пророчества Судного дня оказались верными. Выходит, мы сами накликали беду, вырыли себе могилу и приготовились в нее лечь.

— Но вы не могли этого допустить? — подсказал репортер.

— Видишь, ты сам догадался.

— Поэтому вы создали «конвектор Тойнби»...

— Не сразу. На это ушли годы.

Старик поболтал в бокале темное вино, задержал на нем взгляд, а потом пригубил, закрыв глаза.

— Все это время я шел ко дну, впадал в уныние, ночами молча лил слезы и думал: что можно сделать, чтобы спасти нас от самих себя? Как спасти моих друзей, мой город, штат, страну, весь мир от этой обреченности? Как-то в поздний час я зашел у себя в библиотеке и, проведя рукой по полкам, наткнулся на старую книгу Герберта Уэллса, из числа моих любимых. Его машина времени, как призрак, окликнула меня сквозь годы. Я это услышал! Осознал. Прислушался очень внимательно. Потом перенес это на чертежи. Сконструировал. Отправился, скажем так, в путешествие. Все остальное, как тебе известно, уже история.

Допив вино, старый путешественник открыл глаза.

— Господи,— зашептал репортер, качая головой,— боже правый. О чудо, просто чудо...

Внизу зрело людское неистовство — в садах, на окрестных полях и дорогах, даже в воздухе. Миллионные толпы все еще чего-то ждали. А как же великое прибытие?

— Такие дела,— сказал старик, налив вина своему гостю.— Вот я каков, а? Сам сделал машины, построил макеты городов, не забыл пруды, озера,

моря. Воздвиг архитектурные ансамбли на фоне кристально чистых вод, поговорил с дельфинами, поиграл с китами, состряпал пленки, придумал мифы. Ох, сколько же потребовалось изнурительных трудов и тайных приготовлений, прежде чем я объявил дату, отправился в путешествие и вернулся с добрыми вестями!

Марочного вина больше не осталось. Людской ропот крепчал. Все, кто находился внизу, теперь смотрели на крышу.

Помахав им рукой, путешественник отвернулся.

— А теперь — быстро. Решайся. У тебя есть пленка с записью моего рассказа. Вот тебе еще три кассеты с новыми подробностями. Вот полная видеозапись моей вдохновенной аферы. Вот законченная рукопись. Бери, бери все, для будущих поколений. Передаю тебе права наследования, как отец сыну. Шевелись!

Когда Шамуэй вторично очутился в лифте, ему показалось, что мир уходит из-под ног. Он не знал, как быть, то ли плакать, то ли смеяться, и в конце концов издал торжествующий вопль.

Старик удивился, но издал точно такой же вопль — они как раз выходили из лифта, чтобы направиться к «конвектору Тойнби».

— Улавливаешь суть, сынок? Жизнь — это вечный самообман! Мальчишки, юноши, стари-

ки. Девчонки, девушки, женщины. Все преспокойно себя обманывают, а потом стараются, чтобы обман стал явью. Сперва придумают себе мечту, а потом все помыслы, идеи, силы направляют на то, чтобы ее осуществить. В конечном счете, все сущее — это только надежда. То, что кажется ложью, — это убогая необходимость, ждущая своего часа. Вот так-то. Точка.

Он нажал на кнопку, чтобы отодвинуть прозрачный футляр, надавил на другую, и машина времени заурчала, тогда он проворно забрался в кабину и сел в кресло пилота.

— Дерни последний рычаг, юноша!

— Но ведь...

— Небось, ты про себя думаешь: если машина времени — это афера, какого черта дергать рычаги? — засмеялся старик. — Так ведь? А ты все-таки дерни! Уж на этот раз все будет без обмана!

Шамуэй повернулся к стене, нашел рычаг управления, но, взявшись за рукоять, посмотрел на Крейга Беннета Стайлза.

— Ничего не понимаю. Куда это вы собрались?

— Что тут непонятного: на свидание с веками. Чтобы существовать именно теперь, в далеком прошлом.

— Разве такое возможно?

— Поверь, сейчас все работает. Прощай, дружок, хороший ты парень!



— Прощайте.  
— Да, вот еще что. Скажи-ка, кто я есть.  
— В каком смысле?  
— Назови меня как положено — и жми на рычаг.

— Путешественник во времени?  
— Молодчина! Давай!

Шамуэй дернул рычаг вниз. Машина зажужжала, взревела, полыхнула энергией.

— Ох,— произнес старик, закрывая глаза и еле заметно улыбаясь.— Хорошо-то как.

Его голова бессильно свесилась на грудь.

Шамуэй с воплем стукнул по рычагу снизу вверх и бросился к машине, чтобы отстегнуть ремни.

На мгновение он остановился, чтобы пощупать у старика пульс — сначала на запястье, потом под шеей,— и застонал. У него потекли слезы.

Старик и впрямь отправился в прошлое, имя которому — смерть. Сейчас он безвозвратно летел сквозь время.

Шамуэй отпрянул и вновь запустил машину. Если уж старик на это решился, пусть его детище уйдет вместе с ним, хотя бы чисто символически. Машина сочувственно урчала. Ее огонь, яркий огонь солнца, разгорался в паутине проводов и оснастки, освещая стариковские щеки и высокий лоб; путешественник погружался во тьму, голова

его кивала от вибрации, а на губах застыла по-детски счастливая улыбка.

Репортер еще долго стоял как вкопанный и только утирал слезы. Потом, так и не выключив машину, он зашагал к выходу и в ожидании лифта стал вытаскивать из кармана пиджака полученные пленки и кассеты, которые вереницей полетели в настенный мусоросжигатель.

Двери раскрылись, и Шамуэй ступил в кабину лифта, створки сомкнулись у него за спиной. Лифт заурчал, почти как машина времени, и понес его в изумленный, нетерпеливо ожидающий мир, на яркий континент, к берегам грядущего, на прекрасную, живую планету...

Которую сотворил один человек, единожды со-  
лгав.

## *Лаз в потолке*

Прожив добрый десяток лет в этом старом доме, Клара Пек сделала поразительное открытие. На лестнице, что вела на второй этаж, прямо над головой...

Обнаружился лаз в потолке.

— Вот так штука!

Она поднялась на один пролет, приросла к лестничной площадке и недоуменно уставилась в потолок, не веря своим глазам.

— Быть такого не может! Как это я прохлопала? Надо же, у меня в доме, оказывается, есть чердак!

Тысячу дней, тысячу раз она поднималась и спускалась по этой лестнице — и ничего не замечала.

— Куда ты смотрела, старая дура!

И она устремилась вниз, едва не полетела кубарем и даже не вспомнила, для чего поднималась наверх.

Перед обедом она, как взбудораженная девчонка-переросток, тощая, с бескровными щеками и блеклыми волосами, снова пришла постоять под этой дверцей: стреляла горячечным взглядом, прикидывала, размышляла.

— Ну, допустим, нашла я эту чертову лазейку, я дальше что? Не иначе как за ней чулан. Вот ведь...

И в смутной тревоге побрела в комнату, предчувствуя скорое умопомрачение.

— Не бери в голову, Клара Пек! — приговаривала она, когда чистила пылесосом гостиную. — Тебе всего-то пятьдесят семь годков. Из ума пока не выжила, слава богу!

Нет, почему она раньше ничего не замечала?

Да потому, что тишина здесь была особенной — вот почему. Крыша никогда не протекала, так что с потолка не капало; балки не скрипели от ветра; мышей не было и в помине. Вот если бы сверху донесся шепот дождя, стон древесины или мышинный топоток, она бы непременно подняла голову и увидела этот лаз.

Но дом хранил молчание, и она оставалась в неведении.

— Будь оно неладно! — вырвалось у нее за ужином.

Она вымыла посуду, часов до десяти почитала и легла спать раньше обычного.

Как раз в ту ночь ей впервые послышался приглушенный стук, будто наверху кто-то отбивал морзянку, а потом принялся выцарапывать гвоздем всякие гадости под прикрытием равнодушно-го, бледного, как лунный свет, потолка.

В полусне она прошептала одними губами: «Мышь?»

А потом наступил рассвет.

Спускаясь на кухню, чтобы приготовить завтрак, она не сводила пытливых девчоночьих глаз с дверцы в потолке и поймала себя на том, что у нее чешутся руки принести стремянку.

— Черта с два,— пробормотала она.— Еще не хватало карабкаться на пустой чердак. Вот пройдет неделя...

Через три дня лаз пропал.

Точнее, Клара о нем забыла. Словно его и не бывало.

Зато на третью ночь мыши — или какие-то неведомые твари — опять заметались над потолком, ни дать ни взять седые, как паутина, призраки на зыбких лунных дорожках.

После такого сравнения на ум пришли сухие колючки, пушинки одуванчика и обыкновенные клочья пыли — мало ли что слетает с подоконника на чердаке.

Ей подумалось: хорошо бы уснуть, но из этой затеи ничего не вышло.

Лежа на спине, она с таким упорством сверлила глазами потолок, что, казалось, ее взгляд вот-вот пробьет штукатурку и доберется до ночных смутянов.

Тараканьи бега? Мышиный табор, перекочевавший из соседского дома? В последнее время к ним в округу частенько вызывали бригаду, которая натягивала над домом брезент, вроде мрачного шапито, чтобы швырнуть туда ядовитую дымовую шашку и отбежать в сторону, обрекая на смерть невидимых приживал.

А те, видно, успевали собрать свои ворсистые пожитки и спастись бегством. Лишившись кровя, они обосновались на чердаке у Клары Пек, где нашли стол и дом.

И все же...

Она не смыкала глаз и вновь слышала шорохи. Они бороздили широкое чело потолка затейливыми ритмами, в глухой чердачной камере длинные ногти скреблись и царапались то в одном углу, то в другом.

Клара Пек затаила дыхание.

Ритмы ускорились. Они исподволь устремились в заветное место над дверью спальни, сразу за притолокой. Казалось, мелкие твари, незна-

мо какие, топчутся у потайной загородки в поисках выхода.

Клара Пек медленно села в постели, потом встала и так же медленно нажала плечом на дверь, чтобы не скрипнули петли. Медленно приоткрыла дверную створку. Выглянула в коридор, который полная луна залила холодным мерцанием сквозь лестничное оконце, чтобы высветить...

Лаз в потолке.

Словно почуяв тепло человеческого тела, крошечные приبلудные твари-призраки скопились прямо за потолочной дверцей.

«Боже праведный! — подумала Клара Пек. — А ведь они меня слышат. Хотят, чтобы я...»

Дверца мелко задрожала под напором суетливых комков.

По деревянному наличнику снова и снова шуршали, скользили невидимые паучьи лапы, мышинные коготки, а может, скрученные бурые обрывки старой газеты.

Все явственнее, все громче.

Клара едва не закричала: «Вон отсюда! Кыш!»

Тут зазвонил телефон.

— Ох! — выдохнула Клара Пек.

Кровь лавиной отхлынула от сердца и сковала ноги, до кончиков пальцев.

— Чтоб тебя!

Она подбежала к телефону и с такой силой сжала трубку, будто надумала ее задушить.

— Кто это?! — рявкнула она.

— Клара! Это я, Эмма Кроули! Что у тебя стряслось?

— Фу ты! — вскричала Клара. — Напугала меня до смерти! Эмма, почему ты звонишь в такое время?

В трубке повисло долгое молчание, у собеседницы на другом краю городка тоже перехватило дух.

— Глупо, конечно, но я никак не могла уснуть. Что-то почудилось...

— Эмма...

— погоди, не перебивай. Ни с того ни с сего меня как ударило: Клара захворала, а может, расшиблась или...

Придавленная звуком ее голоса, Клара тяжело опустилась на край кровати, закрыла глаза и кивнула.

— Клара, — не унималась Эмма где-то в необозримом далеке, — ты жива-здорова?

— Жива-здорова, — выдавила наконец Клара.

— Не заболела? Дом не сгорел?

— Нет-нет-нет.

— Слава богу. Глупая моя голова. Не сердись?

— Не сержусь.



— Ну и ладно... спокойной ночи,— распрощалась Эмма Кроули.

Клара Пек с минуту глядела перед собой и слушала гудки, которые твердили, что говорить больше не с кем, но в конце концов ощупью положила трубку на рычаг.

После этого она отправилась проверить лаз.

Ни звука. Только кружево осенних листьев, облепивших окно, тенью дрожало и трепетало на деревянной дверце.

Клара подмигнула.

— Думаешь, ты умнее всех? — спросила она.

В ту ночь она больше не слышала ни рысканья, ни хороводов, ни мышиной возни.

Звуки повторились через трое суток — и стали еще громче.

— Это уже не мыши,— решила Клара Пек,— это здоровенные крысы. Эй!

Потолок откликнулся на этот зов причудливым танцем без музыки. Странная чечетка не умолкала, пока с неба лился лунный свет. Но стоило ему погаснуть, как в доме воцарилась тишина, которую нарушало только дыхание еле живой Клары Пек.

К концу недели фигуры хороводов сделались более четкими. Они отдавались эхом в каждой из верхних комнат: в бельеовой, в старой спальне и даже в библиотеке, где в прежние годы обитатели до-

ма листали книжные страницы и любовались волнами каштановой роши.

На десятые сутки, в три часа ночи, Клара Пек снова слышала барабанную дробь и зловещие синкопы. Осунувшаяся, вся в испарине, она схватила телефонную трубку и набрала номер Эммы Кроули.

— Клара! Я так и знала, что ты позвонишь!

— Да ведь сейчас три часа ночи, Эмма. Неужели ты не удивилась?

— Нисколько. Я лежала без сна и думала о тебе. Хотела позвонить, но почувствовала себя полной идиоткой. Значит, у тебя и вправду что-то неладно?

— Эмма, ответь на один вопрос. Если чердак много лет пустовал — и в одночасье словно ожил, к чему бы это?

— Не знала, что у тебя есть чердак.

— А кто знал? Представь себе: сначала там вроде как сновали мыши, потом затопали крысы, а теперь носятся кошки. Что мне делать?

— Звони в службу «Крысолов» на Мейн-стрит. Сейчас... Записывай: Мейн-семь-семь-девять-девять. А ты точно знаешь, что на чердаке кто-то есть?

— Да там настоящие бега!

— А кто жил в этом доме до тебя, Клара?

— Кто...

— Понимаешь, до сих пор все было спокойно, а теперь, как бы это сказать, завелись паразиты. Может, там кто-то умер?

— Умер?

— Вот именно, если в доме когда-то кто-то умер, то, скорее всего, никаких мышей у тебя нет.

— Кто ж тогда здесь топает — привидения?

— А разве ты не веришь...

— С привидениями знаться не желаю. Равно как и с подругами, которые пугают меня всякой нечистью. Ты мне больше не звони, Эмма!

— Да ведь ты сама мне позвонила!

— Повесь трубку, Эмма.

Эмма Кроули положила трубку.

В четверть четвертого Клара Пек выскользнула в холодный коридор, немного постояла, а потом ткнула пальцем вверх, словно бросая вызов потолку.

— Призрак, ты там? — прошептала она.

Дверные петли, невидимые в ночи, смазал ветер.

Рассчитывая каждое движение, Клара Пек медленно вернулась к себе и улеглась в постель.

В двадцать минут пятого дом содрогнулся от ветра.

Неужели это в коридоре?

Она насторожилась. Прислушалась.

Деревянная дверца над лестницей тихонько, едва уловимо скрипнула.

И распахнулась.

«Не может быть!» — мелькнуло в голове у Клары Пек.

Дверца качнулась вверх, прижалась к потолку и опять со стуком упала вниз.

Так и есть! — подумала Клара.

Пойду проверю, решила она.

— Нет!

Вскочив с постели, она бросилась к дверям, повернула ключ и снова легла.

Укрылась с головой и, не помня себя, набрала номер.

— Алло, «Крысолов»! — послышался ее собственный голос, заглушенный одеялом.

В шесть утра, совершенно разбитая, она уже спускалась вниз, глядя прямо перед собой, чтобы не видеть зловещий потолок.

На полпути она все же оглянулась, опешила и рассмеялась.

— Вот дуреха! — вырвалось у нее.

Потому что дверца не была распахнута.

Она была закрыта.

— «Крысолов»? — проговорила она в телефонную трубку в семь тридцать безоблачного утра.

---

В полдень перед домом Клары Пек затормозил фургон службы «Крысолов».

Гроза паразитов по фамилии Тиммонс шел к крыльцу с таким развязно-кичливым видом, что Клара Пек сразу поняла: этот тип не понаслышке знает, что такое грызуны, термиты, старые девы и странные ночные звуки. На ходу он окидывал мир презрительным взглядом тореадора, а может, парашютиста, спустившегося с заоблачных высот, или ловеласа, который закуривает сигарету, повернувшись спиной к жалкой фигурке на постели. Вот он нажал на кнопку звонка — ни дать ни взять посланец богов. Клара вышла на порог и едва не захлопнула дверь у него перед носом, потому что борец с грызунами взглядом сорвал с нее платье, вмиг обнажив ее тело и мысли. Его губы скривились в ухмылке алкоголика — он явно был доволен собой. Кларе не оставалось ничего другого, кроме как воскликнуть:

— Нечего стоять столбом! Работать надо! — Она развернулась и зашагала по коридору под его изумленным взглядом.

Через несколько шагов она оглянулась, чтобы проверить, какое действие возымели ее слова. По-видимому, до сих пор женщины с этим молодчиком так не разговаривали. Некоторое время он изучал дверной косяк, а потом не без любопытства шагнул в дом.

— Сюда,— указала Клара.

Она прошествовала по коридору и поднялась на площадку, где загодя была приготовлена металлическая стремянка. Клара ткнула рукой вверх:

— Вот чердак. Разберись, что там за чертовщина. Да не вздумай с меня лишнего содрать. Будешь спускаться — ноги вытирай. А я пошла по магазинам. Надеюсь, тебя можно оставить без присмотра, дом-то не обчистишь?

Каждой своей фразой Клара сбивала с него спесь. Крысобою побагровел. У него заблестели глаза. Не успел он и слова сказать, как она уже спустилась в прихожую и накинула легкое пальто.

— Ты хоть знаешь, как мыши на чердаке топают? — осведомилась она через плечо.

— Не глупее вас, хозяйка,— сказал он.

— Язык придержи. А крыс отличишь? Там, наверно, крысы — уж больно здоровые. А какие твари, поболее крыс, плодятся на чердаках?

— У вас в округе еноты водятся?

— Да как они на чердак-то залезут?

— Это вам лучше знать, хозяйка.

Тут оба умолкли: наверху что-то тихонько заскреблось. Потом стало царапаться. Потом глухо застучало, как сердце.

На чердаке началась какая-то возня.

Тиммонс зажмурился и охнул:

— Вот оно!

Клара Пек удовлетворенно закивала, натянула перчатки и поправила шляпку, не сводя с него глаз.

— Похоже...— протянул мистер Тиммонс.

— На что?

— В этом доме когда-нибудь жил капитан дальнего плавания? — спросил он после паузы.

Звуки сделались громче. Казалось, весь дом стонет и ходит ходуном под невидимой тяжестью.

— Напоминает корабельный трюм.— Тиммонс прислушивался с закрытыми глазами.— Как будто груз сорвался, когда судно меняло курс.— Он расхохотался и открыл глаза.

— Час от часу не легче.— Клара попыталась вообразить такое зрелище.

— Сдается мне,— Тиммонс с кривой ухмылкой глядел в потолок,— вы под крышей устроили теплицу или что-то наподобие того. Такое впечатление, будто там всходы поднимаются. Или дрожжи. Выпирают из квашни размером с собачью конуру. Мне рассказывали, как один чудака в подвале дрожжи разводил. У него...

Входная дверь захлопнулась.

Клара Пек, раздосадованная его зубоскальством, крикнула из-за порога:

— Вернусь через час. Не отлынивай!

Ей в спину летел его хохот. Она лишь один раз остановилась на дорожке, чтобы оглянуться.

Этот идиот переминался возле стремянки, воздев глаза к потолку. Потом он пожал плечами, махнул рукой, мол «была-не была», и...

Резво полез по ступенькам, как матрос по трапу.

Вернувшись ровно через час, Клара Пек увидела, что фургон санитарной службы все так же стоит у тротуара.

— Вот черт,— пробормотала она.— Я-то думала, он к этому времени управится. Гусь этакий, толчется в доме, дерзит...

Она остановилась и прислушалась.

Тишина.

— Странно,— прошептала она и окликнула: — Мистер Тиммонс!

Тут Клара Пек опомнилась — до незапертой двери оставалось не менее двадцати шагов, она приблизилась к порогу.

— Есть кто живой?

В прихожей ее встретила тишина, точь-в-точь как прежде, когда мыши еще не превратились в крыс, а крысы не переросли в здоровенных тварей, что водили хороводы на верхней палубе. Только вдохни такую тишину — она и задушить может.

Клара Пек задрала голову и остановилась у подножия лестницы, прижав к груди пакет с продуктами, словно безжизненного младенца.

— Мистер Тиммонс!..



Но в ответ не слышала ни звука.

На лестничной площадке сиротливо стояла стремянка.

Дверца в потолке оказалась закрытой.

— Ну, значит, его там нет! — подумала она. — Не мог же он запереться изнутри. Вот прохиндей — наверняка улизнул.

Сощурившись, она еще раз выглянула на улицу, где под ярким полуденным солнцем томился его фургон.

— Скорее всего, не смог мотор завести. Пошел за подмогой.

Она забросила покупки на кухню и впервые за долгие годы ни с того ни с сего зажгла сигарету. Выкурила, зажгла вторую и только после этого, грохоча кастрюлями и нарочито постукивая консервным ножом, принялась готовить обед.

Дом прислушивался, но не отвечал.

К двум часам тишина стала густой, словно запах мастики.

— Служба «Крысолов», — сказала она вслух и набрала номер.

Через полчаса начальник службы собственной персоной прикатил на мотоцикле, чтобы отогнать брошенный фургон. Приподняв фуражку, он вошел в дом, перекинулся парой слов с Кларой Пек, осмотрел пустые комнаты и прислушался к тягостному молчанию.

— Ничего страшного, мэм,— изрек он, хотя и не сразу.— Чарли в последнее время стал выпивать. Завтра появится — сразу его уволю. А чем он у вас занимался?

Его взгляд скользнул вверх по лестнице, туда, где на площадке оставалась стремянка.

— Да так,— быстро нашлась Клара Пек,— проверял помещения.

— Завтра я сам приду,— пообещал начальник.

Как только он уехал, Клара Пек поднялась на площадку, внимательно оглядела чердачную дверь и шепотом произнесла:

— А ведь этот тоже тебя не заметил.

Над головой не скрипнула ни одна балка, не пробежала ни одна мышь.

Клара стояла как истукан, а солнечный свет, льющийся в открытую дверь, уже падал косыми лучами.

Зачем, пытала она себя, зачем я солгала?

Но ведь дверь-то закрыта?

Сама не знаю почему, думала она, но больше не хочу никого пускать наверх. Глупость, да? Нелепость, верно?

За обедом она все время прислушивалась.

И когда мыла посуду, оставалась настороже.

В десять она легла спать, но не у себя наверху, а в комнатухе для прислуги, пустовавшей с дав-

них времен. Кто его знает, почему она так поступила — просто легла в кухаркиной комнате, вот и все, а сама прислушивалась до боли в ушах, пока кровь не застучала в висках и на шее.

Застыв, как в гробу, она выжидала.

Около полуночи налетел ветерок и будто бы зашуршал сухими листьями на стеганом одеяле. Она широко раскрыла глаза.

Балки дрожали.

Клара подняла голову.

По чердаку гулял шепоток.

Она села.

Звуки сделались громче и тяжелее, будто в чердачной темноте шевелился матерый, но какой-то бесформенный зверь.

Она спустила ноги на пол и повесила голову. Шумы раздались опять, где-то под самой крышей: в одном углу кроличий топот, в другом — необъятное сердце.

Клара Пек вышла в прихожую и остановилась под окном в лунных лучах, какие предвещают холодный рассвет.

Держась за перила, она стала крадучись подниматься по лестнице. Добравшись до площадки, тронула пальцами стремянку и подняла взгляд.

Глаза сами собой зажмурились. Сердце екнуло, а потом остановилось.

Потому что прямо перед ее взором дверца стала открываться. За ней обнаружился хищный квадрат темноты, а за ним бесконечный, как ствол шахты, мрак.

— С меня хватит! — вскричала Клара Пек.

Она ринулась вниз, отыскиала в кухонном ящике молоток и гвозди, а потом в ярости бросилась вверх по ступеням.

— Не верю я в эту чертовщину! — кричала она. — Чтоб этого больше не было, ясно? Прекратить!

Стоя на верхней ступени стремянки, она волей-неволей ухватила за край чердака — одна рука по локоть ушла в сплошную тьму. Темя тоже оказалось там.

— Давай! — приказала она.

В тот самый миг, когда ее голова просунулась в квадрат, а пальцы нащупали край лаза, произошло нечто невероятное и стремительное.

Можно было подумать, кто-то вцепился ей в волосы и потащил вверх, точно пробку из бутылки — туловище, руки, негнувшиеся ноги.

Она исчезла, как по волшебству. Унеслась, как марионетка, которую невидимая сила дернула за ниточки.

Лишь домашние тапочки остались стоять на верхней ступени стремянки.

Ни вздоха, ни стога. Только долгая, живая тишина — секунд на десять.

Потом без всякой видимой причины дверца со стуком затворилась.

Из-за этой необыкновенной тишины лаз в потолке и дальше оставался незамеченным.

Пока новые жильцы не прожили в доме десять лет.

## *Восточным экспрессом на север*

Когда Восточный экспресс шел в северном направлении, из Венеции в Кале через Париж, старушка обратила внимание на одного из пассажиров: он отличался неестественной бледностью.

Судя по всему, его ждала близкая смерть от какого-то тяжкого недуга.

Он занял двадцать второе купе в конце третьего вагона и распорядился, чтобы ему принесли завтрак; только в сумерках он собрался с силами, чтобы дойти до залитого обманным светом вагона-ресторана, где царил звон хрусталя и женский смех.

Еле двигаясь, он сел через проход от этой престарелой дамы с необъятным бюстом, безмятежным челом и особой добротой в глазах, которая приходит только с годами.

Рядом с ней стоял медицинский саквояж, а из нагрудного кармана, не добавлявшего женственности ее облику, торчал термометр.

К этому термометру невольно потянулась ее рука при появлении жутковатого, мертвенно-бледного пассажира.

— О господи,— прошептала мисс Минерва Холлидей.

Мимо ее столика проходил метрдотель. Она тронула его за локоть и кивком указала через проход:

— Простите, куда едет этот несчастный?

— В Кале, мадам, а оттуда в Лондон. Но это уж как бог даст.

И он заспешил по своим делам.

Потеряв аппетит, Минерва Холлидей не сводила глаз со снежного скелета.

Как могло показаться со стороны, этот пассажир мгновенно ощутил родство со столовыми приборами. Ножи, вилки и ложки позвякивали холодной серебряной трелью. Он с интересом прислушивался, как будто этот звук беспокойно дрожащих предметов отдавался у него в душе перезвоном потусторонних колоколов. Его руки одинокими зверьками застыли на коленях, и от этого на каждом повороте он едва не заваливался на бок.

Поезд как раз описывал широкую дугу, и столовое серебро со звоном посыпалось на пол. В другом конце ресторана какая-то женщина со смехом воскликнула:

— Такого не бывает!

Ее спутник хохотнул еще громче:

— Я и сам не верю!

От такого совпадения странный пассажир начал как-то подтаивать. Недоверчивые смешки этой пары прошли его насквозь.

Он весь сжался. Глаза ввалились, а изо рта готово было вырваться белое облачко.

Потрясенная, мисс Минерва Холлидей наклонилась вперед и протянула к нему руку. Помимо своей воли она прошептала:

— А я верю!

Результат сказался мгновенно.

Странный пассажир выпрямился. Белые щеки вспыхнули румянцем. В глазах сверкнул живой огонек. Покрутив головой, он остановил взгляд на этой кудеснице, исцелявшей словом.

Отчаянно краснея, престарелая сестра милосердия, обладательница необъятного теплого бюста, спохватилась, встала с кресла и поспешила уйти.

Не прошло и пяти минут, как мисс Минерва Холлидей услышала в коридоре шаги метрдотеля, который стучался во все двери и о чем-то приглушенно спрашивал. Он остановился возле ее купе и заглянул внутрь:

— Вы, случайно, не...

— Нет.— Она сразу поняла, что ему нужно.— Я не врач. Но у меня есть диплом медсестры. Что-то случилось с тем господином в вагоне-ресторане?



— Да, да! Умоляю, мадам, пройдемте со мной! Смертельно бледного старика уже перенесли в купе.

Мисс Минерва Холлидей приоткрыла дверь.

Пассажир лежал с закрытыми глазами, губы сжались в бескровный шрам, и только подергивание головы в такт движению поезда создавало видимость жизни.

Боже милостивый, промелькнуло у нее в голове, да ведь он мертв.

Но вслух она только и сказала:

— Если вы мне понадобится, я позову.

Метрдотель вышел.

Осторожно прикрыв раздвижную дверь, мисс Минерва Холлидей повернулась, чтобы осмотреть покойника — сомнений не оставалось, перед ней лежал покойник. И все же...

Помедлив, она решилась пощупать его запястья: в них пульсировала ледяная вода. Мисс Минерва Холлидей отпрянула, словно обжегшись сухим льдом. Потом, склонившись над бледным лицом, она зашептала:

— Слушайте меня очень внимательно. Договорились?

В ответ, если это ей не почудилось, раздался один-единственный холодный удар сердца.

Она продолжала:

— Сама не знаю, как меня осенило. Но я знаю, кто вы такой и чем страдаете...

Поезд вписался в поворот. Голова больного бес- сильно моталась, как будто у него была сломана шея.

— Могу сказать, от чего вы умираете! — шептала она. — Ваш недуг называется «люди»!

Он выпучил глаза, как от выстрела. Она не останавливалась:

— Вас убивают люди, попутчики. В них и коренится ваше недомогание.

Плотно закрытый рот, смахивающий на рану, дрогнул от подобия выдоха:

— Да-а-а-а-а... а-а-а-а.

Она крепче сжала его запястье, пытаясь нащупать пульс:

— Вы ведь родом из Центральной Европы, верно? Когда в ваших краях долгими ночами завывал ветер, люди настораживались. Но с приходом перемен вы решили найти избавление в путешествиях, хотя...

В этот миг коридор огласился зажигательным хохотом молодой, взбодренной вином компании.

Немощный пассажир содрогнулся.

— Откуда... вы... — зашептал он, — все это... знаете?

— У меня большой медицинский опыт и цепкая память. Я видела, знала кое-кого, похожего на вас, когда мне было шесть лет...

— Правда? — выдохнул он.

— В Ирландии, неподалеку от Килешандры. У моего дядюшки там был дом, который простоял не менее ста лет, и как-то раз, в дождливую, туманную ночь, на крыше послышались шаги, потом что-то заворочалось в коридоре, будто ненастье проникло в дом, и ко мне в спальню вошла эта тень. Я села в кровати, и меня обдало холодом. Мне это врезалось в память; я убеждена, все было наяву: тень присела ко мне на кровать и стала нашептывать какие-то слова... точь-в-точь... как вы.

Не открывая глаз, больной старик прошелестел из глубин своей арктической души:

— И кто... нет, что... я такое?

— Вы не больны. И вам не угрожает смерть. Вы...

Ее перебил отдаленный свисток Восточного экспресса.

— ...призрак, — закончила она.

— Да-а-а-а-а! — вырвалось у него.

Это был неизбывный крик бедствия, признания, убежденности. Старик резко сел:

— Да!

Неожиданно в дверном проеме возник молодой священник, готовый исполнить свои обязанно-

сти. Поблескивая глазами, он увлажнил губы, присмотрелся к немощной фигуре и, сжимая в одной руке распятие, спросил в полный голос:

— Наверное, пора?..

— ...совершить последние приготовления? —

Старик приоткрыл одно веко, словно крышечку серебряной шкатулки. — С вами? Нет. — Он перевел взгляд на сестру милосердия. — С ней.

— Сэр! — вознегодовал священник.

Отступив назад, он дернул распятие вниз, как парашютист дергает кольцо, резко повернулся и ринулся прочь.

А старуха-сиделка осталась подле своего пациента, теперь пораженного еще большей бледностью; наконец он сам вывел ее из оцепенения:

— Как же вы намереваетесь меня выхаживать?

— Ну, — смущенно улыбнулась она, — что-нибудь придумаем.

Восточный экспресс опять протяжно завыл, рассекая ночные мили туманного марева.

— Вы едете до Кале? — спросила она.

— Да, потом в Дувр, оттуда в Лондон и еще дальше, в окрестности Эдинбурга, где стоит замок, в котором я буду в безопасности...

— Боюсь, из этого ничего не выйдет... — Лучше бы она выстрелила ему в сердце. — Нет, нет, стойте, вы не так поняли! — воскликнула она. —

Ничего не выйдет... без моей помощи! Я провожу вас до Кале, а потом через Ла-Манш в Дувр.

— Да ведь вы меня совсем не знаете!

— Ничего страшного: в раннем детстве, которое прошло в туманной, дождливой Ирландии, я видела вас во сне — задолго до встречи с таким, как вы. Когда мне было девять лет, я бродила по торфяникам в поисках собаки Баскервильей.

— Понимаю,— сказал бледнолицый незнакомец.— Вы англичанка, а в англичанах сильна вера!

— Точно. Сильнее, чем в американцах — тем свойственно сомневаться. Французы? Циники. Англичанам и вправду нет равных. Почитай, в каждом старинном лондонском доме обитает грустная повелительница туманов, которая плачет перед рассветом.

На очередном повороте дверь купе сама собой откатилась в сторону. Из коридора хлынул поток ядовитых голосов, горячечной болтовни, богохульного — иначе не скажешь — хохота. Несчастный больной обмяк.

Проворно вскочив, Минерва Холлидей захлопнула дверь и не мешкая обратилась к своему подопечному с той долей фамильярности, которую дает многолетняя привычка к ночным бдениям у чужой постели.

— И все же,— спросила она,— кто ты такой?

И странный пациент, увидев перед собой лицо печальной девочки — возможно, той самой, которую ему довелось встретить многие годы тому назад, — начал историю своей жизни.

— Две сотни лет я обитал в заштатном городке неподалеку от Вены. Чтобы выдержать нападки неверующих, равно как и глубоко верующих, я прятался в пыли библиотек, подкрепляясь мифами и кладбищенскими преданиями. По ночам наслаждался, когда от меня в испуге шарахались лошади, заходились лаем собаки, разбегались коты... стряхивал крошки с могильных плит. С годами мои собратья по невидимому миру исчезали один за другим, потому что замки и уголья приходили в упадок, а то и сдавались внаем под женский клуб или гостиницу. Лишенные крова, мы превращались в призрачных скитальцев; нас поносили, топили в болоте безверия, сомнений и презрения, делали из нас посмешище. Население росло, а вместе с ним росло и безверие, и все мои соплеменники пустились в бег. Я — последний, кто пытается пересечь Европу и добраться до какого-нибудь мирного, умытого дождями прибежища, где люди, как им положено, пугаются при виде саж и дыма бродячих душ. Англия и Шотландия — это по мне!

Его голос затих.

— А как тебя зовут? — спросила она, помолчав.

— У меня нет имени,— прошептал он.— Тысячи туманов проплыли над моим родовым склепом. Тысячи дождей оросили мое надгробие. Следы резца стерты ветром, водой и солнцем. Моего имени не вспомнят ни цветы, ни травы, ни мраморная пыль.— Он открыл глаза.— Зачем это тебе? Почему ты мне помогаешь?

Только сейчас она по-настоящему улыбнулась, потому что с языка сорвался единственно верный ответ:

— Мне впервые в жизни досталась синяя птица.

— Синяя птица?

— Я прозябала, как пыльное чучело. Не ушла в монастырь, но и не вышла замуж. Ухаживала за больной матерью и полуслепым отцом, ничего не видела, кроме больничных палат и ночных мук на смертном одре. От меня исходил запах лекарств, а встречные мужчины не склонны были считать его ароматом духов. Вот так я и сама сделалась похожей на привидение, понимаешь? А теперь, в эту ночь, прожив шестьдесят шесть лет, я наконец-то нашла такого пациента, какой мне еще не встречался. Господи, во мне пробудился азарт. Спортивный интерес! Я проведу тебя сквозь толпу на вокзале, мы увидим Париж, оттуда доедем до по-

бережья, сойдем с поезда и пересядем на паром. Чем не...

— Синяя птица! — подхватил ее бледный подопечный, содрогаясь от накатившего смеха.

— Она самая! Каждый из нас нашел свою синюю птицу. Вот только...— осеклась Минерва Холлидей, — в Париже, кажется, едят мелких птишек, вдобавок к тому, что поджаривают на костре священнослужителей.

Бледнолицый опять закрыл глаза и шепнул:

— В Париже? Да, верно.

Поезд издал скорбный вопль. Ночь миновала.

Они подъезжали к Парижу.

Как раз в это время по коридору пробежал мальчуган лет шести. Он заглянул в купе и при виде больного остановился как вкопанный, а бледный старик ответил ему холодом ледяного полярного безбрежья. Ребенок ударился в плач и пустился наутек. Престарелая сестра милосердия широко распахнула дверь и высунула голову.

Мальчик что-то сбивчиво объяснял стоящему в отдалении отцу. Тот бросился по коридору с криками:

— Что здесь происходит? Кто напугал моего...— Он не договорил. Сквозь открытую дверь купе в вагоне замедлившего ход Восточного экспресса он увидел это бледное лицо — и прикусил язык, пробормотав: — ...моего сына?



Бледнолицый пассажир смотрел на него спокойным туманно-серым взглядом.

— Я не...— Француз отшатнулся, прищелкнув языком от изумления.— Пардон! — У него перехватило дыхание.— Примите мои извинения!

Он поспешил к сыну и затолкал его в купе, приговаривая:

— Нечего реветь! Пошел!

За ними захлопнулась дверь.

— Париж! — пронеслось по всему поезду.

— Тихо и быстро,— приказала Минерва Холлидей, прокладывая путь своему дряхлому спутнику среди вокзальной сумятицы и чужой клади.

— Я сейчас растаю! — вскричал бледнолицый.

— Со мной не растаешь! — Она выставила перед собой корзину для пикника и чудом втолкнула своего подопечного в последнее такси, оставшееся на стоянке.

Под грозовым небом они подъехали к воротам кладбища Пер-Лашез. Массивные ворота уже закрывались. Медсестра достала пригоршню франков. Створки ворот застыли на полпути.

Среди десятка тысяч надгробий можно было побродить в тишине. От такого обилия холодного мрамора, от такого множества потаенных душ у старой сиделки началось головокружение, разболелось запястье, а левую сторону лица обдало вне-

запным холодом. Противясь недомоганию, она тряхнула головой. И они пошли дальше меж могильных плит.

— Где мы устроимся на пикник? — спросил он.

— Где угодно, — ответила она. — Только с оглядкой! Как-никак, это *французское* кладбище! Кругом одни циники! Полчища себялюбцев, которые сжигали людей на костре только за их веру, а потом сами горели на костре за собственную веру! Так что выбирай, где тебе больше нравится!

Они продолжили путь.

— Первое надгробье в этом ряду, — кивком указал старик. — Под ним — пустота. Смерть окончательна и бесповоротна, нет даже шепота времени. Второе надгробье: женщина, втайне верующая, любила мужа и надеялась соединиться с ним в вечности... здесь ощущается шорох духа, движение сердца. Уже лучше. Третья плита: писатель, строил детективы для какого-то французского журнала. А сам больше всего любил ночь, туман и старинные замки. У этого камня даже температура подходящая, как у доброго вина. Вот здесь мы и присядем, голубушка: ты откупишь бутылку шампанского — глядишь, и скоротаем время до поезда.

Она с радостью протянула ему стакан:

— А тебе не вредно пить?

— Можно пригубить.— Он принял стакан из ее рук.— Только пригубить.

Немощный пассажир чуть не «умер» на выезде из Парижа. Вагон заполонили интеллектуалы, посетившие цикл семинаров на тему «тошноты» Сартра; воздух истощался и кипел от их разглагольствований о Симоне де Бовуар.

Бледный старик еще больше побледнел.

Вторая остановка после Парижа — и еще одно нашествие! Экспресс атаковали немцы, шумно ниспровергающие дух предков, не отягощенные политическими принципами. Некоторые даже размахивали книгой под названием «А был ли Бог дома?».

Призрак вжался в свой прозрачный скелет.

— Ох! — вскричала мисс Минерва Холлидей и побежала к себе в купе, чтобы тут же вернуться и обрушить на него охапку книг.

— «Гамлет»! — зачастила она.— Тут есть про тень его отца, помнишь? «Рождественская песня». Целых четыре привидения! «Грозовой перевал» — ведь Кэти возвращается, верно? Ага, «Поворот винта» и... «Ребекка»! А вот и моя любимая — «Лапка обезьяны»! Что ты выбираешь?

Но пассажир-призрак не вымолвил ни слова.  
Его веки были сомкнуты, а губы запечатаны льдом.

— Погоди! — вскричала она.

И раскрыла первую книгу...

Гамлет стоял на стене замка, слушая речи своего отца-призрака; Минерва Холлидей читала:

— «Так слушай... Уж близок час мой, / Когда  
в мучительный и серный пламень / Вернуться должен я...»

И дальше:

— «Я дух, я твой отец, / Приговоренный по ночам  
скитаться...»

Она не останавливалась:

— «Коль ты отца когда-нибудь любил... О боже!..  
Отомсти за гнусное его убийство».

И опять:

— «Убийство гнусно по себе; но это / гнуснее  
всех...»

Экспресс летел сквозь сумерки, а она читала последний монолог призрака отца Гамлета:

— «...Но теперь прощай!.. / Прощай, прощай!  
И помни обо мне».

Она повторила:

— «...помни обо мне!»

Призрак в Восточном экспрессе задрожал. Она сделала вид, что ничего не заметила, и взялась за следующую книгу:

— «Начать с того, что Марли был мертв...»

А Восточный экспресс грохотал по вечернему мосту над невидимой рекой.

Ее руки, словно птицы, порхали над книгами.

— «Я — Святочный Дух Прошлых Лет»!

И потом:

— «Повозка-призрак выскользнула из тумана и с цоканьем скрылась во мгле...»

Не раздался ли поблизости едва уловимый цокот конских копыт — где-то в горле призрака-ски-тальяца?

— Все бьется, бьется, бьется под досками пола старое сердце-обличитель! — негромко воскликнула она.

И тут — как прыжок лягушонка. Послышалось слабое биение пульса — впервые за последний час с небольшим.

В коридоре немцы палили из стволов безверия.

А она лила бальзам:

— «Негромкий, протяжный и невыразимо то-скливый вой пронесся над болотами».

И эхо того воя одиноким криком вырвалось из души ее попутчика, стоном застряло в горле.

Сгущалась ночь, высоко в небе плыла луна, а где-то внизу ступала Женщина в белом, как и читала-рассказывала сестра милосердия, и летучаямышь обернулась волчицей, а та обернулась яще-

рицей и взбежала по стене на бледном челе больного.

Наконец в поезде наступила сонная тишина; только тогда книга выскользнула из рук мисс Минервы Холлидей и с глухим стуком упала на пол.

— «Requiescat in pace»? — с закрытыми глазами прошептал старый скиталец.

— Именно так. — Она с улыбкой кивнула. — «Покойся с миром».

С этими словами оба погрузились в сон.

Наконец они доехали до побережья.

В воздухе висела дымка, которая обернулась туманом, а туман обернулся ливнем, потоком слез бесцветного небосвода.

От этого бледнолицый старик пробудился, пошамкал губами и воздал хвалу призрачному небу, а заодно и этому берегу, где гостили фантомы прилива; тем временем экспресс остановился под крышей вокзала, и толпа пассажиров ринулась с поезда на паром.

Стараясь держаться подальше от толчеи, призрак остался в вагоне один, как наваждение.

— Постой! — слабо и жалобно простонал он. — Как же я буду на пароме? Там негде спрятаться! Да еще таможня!

Но таможенники, увидев болезненное лицо, нахлобученную шапку и меховые наушники, быстро замахали флажками, чтобы эта робкая душа, убеленная холодом и годами, скорее поднималась по трапу.

Чтобы попасть в окружение грубых голосов, острых локтей и всеобщей сутолоки. Паром, вздрогнув, отчалил, и старая сестра милосердия поняла, что ее ледяной спутник опять начал таять.

Мимо с криками пронеслась ватага детворы, и мисс Минерва Холидей решила, что пора действовать.

— Шевелись!

Она, можно сказать, сгребла в охапку своего подопечного и потащила его в ту сторону, куда бежали дети.

— Нет! — воскликнул он. — Там шумно!

— Такой шум тебе не повредит! — Она заталкивала его в какую-то дверь. — Этот шум целителен. Сюда!

Старик огляделся.

— Что я вижу, — пробормотал он, — игровая комната!

Сиделка увлекла его в самую гущу беготни и гомона.

— Дети! — обратилась она ко всем сразу.

Ребятишки замерли.

— Сейчас будем рассказывать истории!

Дети готовы были вернуться к своим играм, но она успела добавить:

— Страшные истории — о привидениях!

И как бы невзначай указала на немощного пассажира, который бледными, дрожащими пальцами сжимал шарф на ледяной шее.

— Всем сесть! — скомандовала медсестра.

Ребятишки загалдели и стали устраиваться на полу. Они сидели вокруг призрака с Восточного экспресса, будто индейцы вокруг вигвама, и смотрели, как полуоткрытый старческий рот холодит снежные бурунчики.

Призрак заколыхался. Тогда она поспешила спросить:

— А вы верите в привидения?

— Да! — вразнобой закричали дети. — Верим!

Тут призрак с Восточного экспресса приосанился. Его туловище окрепло. В глазах промелькнули крошечные, словно высеченные огнивом, искорки. На щеках зарозовели зимние бутоны. Дети подтягивались ближе, и с каждой минутой он делался выше и свежее. Палец-сосулька обвел детские лица.

— Сейчас... — зашелестел голос, — я... расскажу вам страшную историю. Хотите послушать про *настоящее* привидение?



— Хотим, хотим! — закричали дети.

И призрак повел свой рассказ; бледные уста, дыша туманами, притягивали дождливое море; дети сбились в тесный кружок, который, словно догорающий костер, дарил ему блаженное тепло. Во время его рассказа сестра Холлидей, отступившая к дверям, видела то же самое, что видел ее спутник по ту сторону морских вод: белеющие тенями скалы, меловые скалы, спасительные скалы Дувра, от которых не так уж далеко до зазывного шепота башен, сводчатых подземелий и укромных чердаков, где испокон веков обитали призраки. Не отрываясь от этого видения, старая медсестра невольно потянулась к термометру, торчавшему из нагрудного кармана. Пощупала у себя пульс. На какой-то миг ей в глаза ударила темнота.

Тут раздался детский голос:

— А сам ты *кто*?

Кутаясь в невидимый саван, бледнолицый пассажир напряг свою фантазию и дал ответ.

Только гудок перед швартовкой прервал долгую историю полночной жизни. За детьми стали приходить родители, чтобы увести их от старого джентльмена с туманным взглядом и едва слышимым, пробирающим до костей голосом, который не умолкал до тех пор, пока паром не прижался боком к стенке причала; когда мать с отцом забрали

последнего упирающегося мальчугана, старик и сиделка остались наедине в детской комнате, а паром дрожал сладостной дрожью, как будто тоже внимал рассказу о ночных ужасах, не пропуская ни слова.

Ступив на сходни, пассажир с Восточного экспресса отрывисто произнес:

— Нет. Я не нуждаюсь в помощи. Смотри!

С этими словами он уверенно сошел по трапу. За время рейса дети щедро добавили ему стати, румянца и голоса, а по мере приближения к Англии шаги его становились все шире и тверже; когда он ступил на причал, из тонких губ вырвался слабый, но радостный смех, и даже идущая позади сиделка перестала хмуриться, видя, как он припустил к поезду.

Словно ребенок, старик забегал вперед, и на нее нахлынуло умиление, если не сказать больше. Но вдруг ее сердце, устремившееся следом, пронзила чудовищная боль, накрыл полог мрака, и она упала без чувств.

В спешке бледнолицый пассажир даже не заметил, что сиделки рядом нет,— так он торопился.

На перроне он выдохнул: «Наконец-то»,— и крепко ухватился за поручень. Но тут его охватило тревожное чувство, заставившее обернуться.

Минервы Холлидей нигде не было.

Впрочем, через какое-то мгновение она приблизилась, побледневшая, но сияющая лучистой улыбкой. Она трепетала и едва не падала. Настал его черед подхватить ее под руку.

— Голубушка,— промолвил он,— ты мне очень помогла.

— Будет тебе,— спокойно ответила она, выжидающая, когда же он наконец по-настоящему ее разглядит.— Я, между прочим, никуда не спешу.

— Ты?..

— Я отправляюсь с тобой.

— Но ведь у тебя были свои планы?

— Они изменились. Теперь особо выбирать не приходится.

Повернувшись вполоборота, она поглядела через плечо.

На причале толпились люди — у трапа явно что-то произошло. Среди ропота и криков несколько раз послышалось: «Врача!».

Бледнолицый старик уставился на Минерву Холлидей. Потом перевел взгляд на толпу, пытаясь высмотреть причину такого любопытства, но увидел только разбитый градусник, отлетевший в сторону. Тогда старческие глаза вновь устремились на Минерву Холлидей — она тоже неотрывно смотрела на разбитый термометр.

— Голубушка, милая моя,— выговорил он после долгого молчания.— Пойдем.

Она взглянула на него в упор:

— Синяя птица?

— Синяя птица! — кивнул он в ответ.

И помог ей сесть в поезд, который вскоре дрогнул, загудел и потянулся в сторону Лондона и Эдинбурга, в сторону торфяных болот, замков, темных ночей и вереницы столетий.

— Кто же там лежит? — спросил бледнолицый пассажир, провожая глазами причал.

— Бог его знает, — сказала старая сиделка. — Не могу ответить.

Поезд уже набрал скорость.

А через двадцать секунд вокзальные рельсы и вовсе перестали дрожать.

## *Одна-единственная ночь*

Когда он, преодолев на солидной скорости первый отрезок пути, добрался до Грин-Ривер, штат Айова, там стояло безоблачное весеннее утро в преддверии лета. На трассе его «кадиллак» с откидным верхом раскипятился под прямыми лучами солнца, но перед въездом в городок, среди раскидистой придорожной зелени, богатства мягких теней и шепота прохлады, машина успокоилась.

Тридцать миль в час, подумал он, — то, что надо.

За пределами Лос-Анджелеса, где горевшая от зноя дорога была зажата между каменистыми каньонами и обломками метеоритов, он выжимал из машины все — в таких местах волей-неволей гонишь на предельной скорости, потому что все вокруг наводит на мысли о чем-то стремительном, жестком и безупречном.

Но здесь сам воздух, напоенный зеленью, струился рекой, по которой автомобиль просто не мог

мчаться, как посуху. Оставалось только довериться волнам лиственной тени и дрейфовать по пестрому от бликов асфальту, как речная баржа — к летнему морю.

Глянешь навверх, где могучие кроны, — и покажется, будто лежишь на дне глубокой заводи, отдаваясь прибою.

На окраине он остановился у киоска, чтобы съесть хот-дог.

— Надо же, — шепотом сказал он себе самому, — пятнадцать лет здесь не бывал. Деревья-то как вымахали!

Он вернулся к машине — высокий, загорелый, с неправильными чертами лица и редеющими темными волосами.

— За каким чертом я еду в Нью-Йорк? — спросил он себя. Остаться бы здесь — зарыться в траву и лежать!

Он медленно двигался через старый город. В тупике на запасных путях стоял заброшенный ржавый паровоз, который давно не подавал голоса, давно выпустил весь пар. Жители входили в дома и магазины, а потом выходили из дверей так неспешно, словно их окружала теплая и чистая водная стихия. Замшелые каменные плиты делали любое движение мягким и бесшумным. Это был босоногий марктвеновский городок, где детство, заигравшись, не страшится наказания, а старость

приближается беспечально. От таких размышлений он даже хмыкнул вслух. А может, это только показалось.

Хорошо, что Элен со мной не поехала, подумал он. Ему явственно слышалось:

— Ну и дыра. Ты посмотри на эти лица: одно слово — провинция. Жми на газ. Черт побери, сколько еще тащиться до Нью-Йорка?

Тряхнув головой, он зажмурился, и Элен тут же перенеслась в Рино. Он звонил ей накануне вечером.

— Неплохо, что здесь можно по-быстрому развестись, — говорила она, отделенная от него тысячью миль жары. — Но сам городишко — просто мрак! Слава богу, хоть бассейн есть. Ну, а ты что поделываешь?

— Малой скоростью двигаюсь на восток. — Ложь. Он мчался как пуля, чтобы оторваться от прошлого, чтобы оставить позади все, что можно. — Люблю сидеть за рулем.

— Сидеть за рулем? — переспросила Элен. — Не лучше ли сидеть в кресле самолета? Поездки на машине — такая тягомотина.

— Счастливо, Элен.

Он выехал из города. В Нью-Йорке ему нужно было появиться через пять дней, чтобы обсудить детали бродвейской пьесы, к которой душа не лежала с самого начала; затем предстояло мчаться в

Голливуд и без всякой охоты доводить до ума сценарий, чтобы потом сломя голову нестись в Мехико-Сити, выкроив дни для торопливого зимнего отпуска. Ни дать ни взять мексиканская петарда, размышлял он: лечу по раскаленной проволоке, бьюсь головой о стену, разворачиваюсь — и с воем несусь к другой такой же стене.

Тут он поймал себя на том, что разогнался на зеленых холмистых просторах до семидесяти миль в час, и благоразумно сбавил скорость до тридцати пяти.

Пару раз вдохнув полной грудью прозрачный воздух, он съехал на обочину. Вдали, на травянистом пригорке, среди вековых деревьев замаячила девичья фигурка, которая двигалась вперед сквозь непривычный для него зной, но почему-то не сходила с места; вскоре она исчезла — наверно, привиделась.

В час пополудни от земли исходило жужжание, как от мощного двигателя. За окном машины проносились блестящие штопальные иголки, как шипы жары. В воздухе роились пчелы, травы кланялись нежному ветру. Открыв дверцу машины, он ступил в плотный зной.

Одинокая тропка мурлыкала себе песню жуков, а ярдах в пятидесяти от шоссе ждала прохладная, тенистая роща, откуда, как из пещеры, веяло заветной влагой. Во все стороны тянулись клеверные



холмы и открытое небо. Теперь одеревеневшие руки и ноги обрели подвижность, в холодном животе рассосалась железная тяжесть, а из пальцев ушла дрожь.

Вдруг в рощице на холме, уже совсем далеко, сквозь просвет в кустарнике он снова увидел все ту же девушку, которая уходила и уходила в теплую даль, пока не скрылась из виду.

Он медленно запер машину. Лениво направился в сторону рощи — его не отпускали звуки, которые своей неохватностью могли заполнить вселенную, самые прекрасные звуки на свете: перепевы беспечной речушки, которая стремится неведомо куда.

Отыскав эту речку, в которой сливались свет и тьма, свет и тьма, он снял одежду, искупался, а потом растянулся на гальке, чтобы обсушиться и передохнуть. Вслед за тем не спеша оделся, и на него нахлынуло потаенное желание, бывшее видение, родом из семнадцатилетия. Он не раз описывал и пересказывал его лучшему другу:

— Выхожу я весенней ночью — ну, ты понимаешь, когда уже закончились холода. Иду гулять. С девушкой. Через час мы приходим в такое место, где нас не видно и не слышно. Поднимаемся на горку, садимся. Смотрим на звезды. Я держу ее за руку. Вдыхаю запах травы, молодой пшеницы и знаю, что нахожусь в самом сердце страны,

в центре Штатов, вокруг нас — города и дороги, но все это далеко, и никто не знает, что мы сидим на траве и разглядываем ночь... Мне хочется просто держать ее за руку, веришь? Пойми, держаться за руки... это ни с чем не сравнить. Держаться за руки так, чтоб было не различить, есть в них движение или нет. Такую ночь не забудешь никогда: все остальное, что бывает по ночам, может выветриться из головы, а это пронесешь через всю жизнь. Когда просто держишься за руки — этим все сказано. Я уверен. Пройдет время, все другое повторится раз за разом, войдет в привычку — но самое начало никогда не забудешь. Так вот, — продолжал он, — я бы хотел сидеть так долго-долго, не произнося ни слова. Для такой ночи слов не подобрать. Мы даже не будем смотреть друг на дружку. Будем глядеть вдаль, на городские огни, и думать о том, что испокон веков люди вот так же поднимались на холмы, потому что ничего лучше еще не придумано. И не будет придумано. Никакие дома, обряды, клятвы не сравнятся с такой ночью, как эта. Можно, конечно, сидеть и в городе, но дома, комнаты, люди — это одно дело, а когда над головой открытое небо и звезды, и двое сидят на холме, держась за руки, — это совсем другое. А потом эти двое поворачивают головы и смотрят друг на друга в лунном свете... И так

всю ночь. Разве это плохо? Скажи честно, что в этом плохого?

— Плохо только то,— был ответ,— что мир в такую ночь остается прежним и возвращение неизбежно.

Так говорил ему Джозеф пятнадцать лет назад. Джозеф, закадычный друг, с которым они трепались днями напролет, философствовали, как подобает в юности, решали проблемы мироздания. После женитьбы один из них — Джозеф — затерялся на задворках Чикаго, а другого судьба привела на Средний Запад, и вся их философия пошла прахом.

Он вспомнил свой медовый месяц. Они с Элен отправились в путешествие по стране: в первый и последний раз она согласилась на эту «бредовую затею» (то есть поездку на машине). Лунными вечерами они ехали сквозь пшеничные, а потом сквозь кукурузные просторы Среднего Запада, и однажды Томас решился:

— А не провести ли нам одну ночку под открытым небом?

— Под открытым небом? — переспросила Элен.

— Да хотя бы вот здесь.— Напускная небрежность давалась ему с трудом. Он махнул рукой в сторону обочины.— Смотри, какая красота, кругом холмы. Ночь теплая. Лучше не придумаешь.

— Боже правый! — вскричала Элен. — Ты серьезно?

— Почему-то пришло в голову...

— Деревенские луга, будь они трижды прокляты, кишат змеями и всякими паразитами. Еще не хватало на ночь глядя пробираться в чужие уголья — все чулки будут в зацепках.

— Да кто об этом узнает?

— Об этом, милый мой, узнаю я.

— Мне просто...

— Том, голубчик, ты ведь пошутил, правда?

— Считай, что этого разговора не было, — ответил он.

На трассе среди лунной ночи им попался заштатный, убогий мотель, где вокруг голых электрических ламп кружили ночные мотыльки. В душной комнатухе, где стояла одна железная кровать, воняло краской, из придорожного бара неслись пьяные крики, а по шоссе всю ночь напролет, до самого рассвета, грохотали тяжелые фуры...

Он углубился в зеленую рощу, прислушиваясь к голосам тишины. Тишина здесь звучала на разные голоса: это под ногами пружинил мох, от деревьев — от каждого по-особому — падали тени, а родники, разбегаясь в разные стороны, спешили захватить новые владения.

На поляне он нашел несколько ягод лесной земляники и отправил их в рот. Машина... да черт с

ней, мелькнуло у него в голове. Если с нее снимут колеса или вообще растащат по частям — плевать. Расплавится на солнцепеке — туда ей и дорога.

Опустившись на траву, он подложил руки под голову и уснул.

Первое, что он увидел, проснувшись, — это собственные часы. Шесть сорок пять. Проспал почти целый день. Его щекотали прохладные тени. По телу пробежала дрожь, он сел, но вставать не торопился, а наоборот, снова прилег, опершись подбородком на локоть и глядя перед собой.

Улыбчивая девушка сидела в нескольких шагах от него, сложив руки на коленях.

— Я и не слышал, как ты подошла, — сказал он. Да, походка у нее совсем неслышная.

Без всяких причин, если не считать одной-единственной тайной причины, у Томаса зашло сердце.

Девушка молчала. Он перевернулся на спину и закрыл глаза.

— Живешь в этих краях?

Она действительно жила неподалеку.

— Тут и родилась, и выросла?

Именно так, никуда отсюда не уезжала.

— Красивые здесь места.

На дерево опустилась птица.

— А тебе не страшно?

Он выжидал, но ответа не последовало.

— Ты же меня совсем не знаешь,— сказал он.

Да ведь и она ему не знакома.

— Ну, это большая разница,— сказал он.

А в чем разница-то?

— Сама должна понимать — это другое дело, и точка.

Минут через тридцать — по его собственному ощущению — он открыл глаза и посмотрел на нее долгим взглядом.

— Ты и самом деле здесь? Или это сон?

Она спросила, куда он едет.

— Далеко — куда вовсе не хочется.

Понятно, все так отвечают. Здесь многие останавливаются, а потом едут дальше, куда вовсе не хочется.

— Вот и я так же,— сказал он, медленно поднимаясь.— А знаешь, я только что сообразил: ведь у меня с утра ни крошки во рту не было.

Она протянула ему узелок, захваченный из дому: хлеб, сыр, печенье. Пока он жевал, они молчали, а он ел очень медленно, чтобы не спугнуть ее неосторожным движением, жестом или словом. День близился к закату, в воздухе повеяло прохладой; и тут он решил присмотреться к ней повнимательнее.

И увидел: она хороша собой, у нее белокурые волосы и безмятежное лицо, а на щеках играет свежий, здоровый румянец совершеннолетия.

Солнце ушло за горизонт. Они по-прежнему сидели на поляне, а небо, откуда доставало сил, хранило закатные цвета.

Тут до него донесся неразличимый шепот. Она поднималась на ноги. Потянулась к нему, взяла за руку. Стоя рядом, они окинули глазами рошу и уходящие вдаль холмы.

Потом сошли с тропинки и начали удаляться от машины, от трассы, от города. Землю на их пути освещала розовая весенняя луна.

От каждой травинки уже исходило предвестие ночи, теплое дыхание воздуха, бесшумное и бескрайнее. Они поднялись на вершину холма и там, не сговариваясь, сели на траву, глядя в небо. Ему подумалось: не может быть, такого не бывает; он даже не знал, кто она такая и каким ветром ее сюда занесло.

Милях в десяти прогудел паровоз, который умчался сквозь весеннюю ночь по темной земле, полыхнув коротким огнем.

И тут ему снова пришла на ум все та же похожая на сон история, поведенная лучшему другу много лет назад. Должна быть в жизни такая ночь, которая запомнится навсегда. Она приходит ко всем.

И если ты чувствуешь, что эта ночь уже близка, уже вот-вот наступит — лови ее без лишних слов, а когда минует — держи язык за зубами. Упустишь — она, может, больше не придет. А ведь ее многие упустили, многие даже видели, как она уплывает, чтобы никогда больше не вернуться, потому что не смогли удержать на кончике дрожащего пальца хрупкое равновесие из весны и света, луны и сумерек, ночного холма и теплой травы, и уходящего поезда, и города, и дальних далей.

Мысли его обратились к Элен, а от нее — к Джозефу. Джозеф. Интересно, у тебя это получилось? Сумел ли ты оказаться в нужное время в нужном месте, все ли сложилось, как ты хотел? Этого теперь не узнать, потому что кирпичный город, забравший к себе Джозефа, давно потерял его среди кафельных лабиринтов подземки, черных лифтов и уличного грохота.

Об Элен и говорить нечего, она даже в мечтах не познала такую ночь — просто у нее в голове для этого не было места.

А меня вот занесло сюда, спокойно подумал он, за тысячу миль от всего и всех на свете.

Над мягкой луговой темнотой поплыл бой часов. Раз. Два. Три. На рубеже веков в каждом американском городке, будь он самым неприметным, возводили здание суда: от каменных стен в



летний зной и то веяло холодком, а башня, заметная издалека даже в темном небе, глядела в разные стороны четырьмя бледными ликами часов. Пять, шесть. Прислушавшись к бронзовым ударам времени, он насчитал девять. Девять часов на пороге лета; залитый лунным светом теплый пригорок дышит жизнью средь огромного континента, рука касается другой руки, а в голове крутится: мне скоро будет тридцать три. Но еще не поздно, ничего не потеряно, ко мне пришла та самая ночь.

Медленно и осторожно, как оживающая статуя, она поворачивала голову, пока глаза не устремились на его лицо. Он почувствовал, что и сам невольно поворачивает голову, как это много раз случалось во снах. Они неотрывно смотрели друг на друга.

Среди ночи он проснулся. Она лежала рядом без сна.

— Кто ты? — шепотом спросил он.

Ответа не было.

— Хочешь, я останусь еще на одну ночь? — предложил он.

Но в душе понимал: другой ночи не бывает. Бывает только одна-единственная, та самая ночь. Потом боги поворачиваются к тебе спиной.

— Хочешь, приеду следующим летом?

Она лежала, смежив веки, но не спала.

— Я даже не знаю, кто ты,— повторил он.

Ответа не было.

— Поедешь со мной? — спросил он.— В Нью-Йорк.

Но в душе понимал: она могла появиться только в этом месте и больше нигде, и только лишь в эту ночь.

— Но я не смогу тут остаться.— Это были самые правдивые и самые пустые слова.

Немного выждав, он еще раз спросил:

— Ты настоящая? Ты и в самом деле рядом?

Они уснули. Луна покатилась встречать утро.

На рассвете он спустился по склону, пересек рощу и приблизился к машине, мокрой от росы. Повернув ключ в дверце, он сел за руль и некоторое время не двигался с места, глядя назад, туда, где в росистых травах осталась дорожка его шагов. Он повернулся на сиденье, готовясь опять выйти из машины, и уже нащупал ручку дверцы, пристально вглядываясь вдаль.

Роща стояла безжизненно и тихо, тропа была пуста, шоссе тянулось вперед чистой, застывшей лентой. На тысячи миль вокруг ничто не нарушало покоя.

Он прогрел двигатель.

Машина указывала на восток, где неспешно занималось оранжевое солнце.

— Ладно, — вполголоса сказал он. — Эй, вы, я еду. Что ж поделаешь, раз вы еще живы. Что ж поделаешь: мир состоит не только из холмистых лугов, а как хорошо было бы ехать без остановки по такой дороге и никогда не сворачивать в города.

По пути на восток он ни разу не оглянулся.

## *К западу от Октября*

В конце лета двоюродные братья, все вчетвером, нагрянули в гости к Родне. В старом хозяйском доме места не нашлось, поэтому их устроили на раскладушках в сарае, который вскорости сгорел.

А Родня-то была не простая. Каждый перешеголял своих предков.

Если сказать: все они днями спали, а по ночам проворачивали всякие дела, то лучше и вовсе не заводить историю.

Если поведать: кое-кто из них наловчился читать мысли, а кое-кто — летать с молнией и опускаться на землю с листьями, то получится недо-молвка.

Если добавить: одни вовсе не отражались в зеркале, а другие (в том же самом зеркале) принимали любую статью, масть или плоть, то это будет на руку сплетникам, хотя и недалеко от истины.

Обретались в доме и дядя с тетками, и родные с двоюродными, и деды с бабками — что поганки на опушке, что опята на пне.

А разных окрасов и вовсе было не счесть. Сколько можно намешать за одну бессонную ночь, столько и было.

Кое у кого еще молоко на губах не обсохло, а иные были ровесниками Сфинкса: застали ту пору, когда он только-только погрузил каменные лапы в прибрежный песок.

Вот такое невообразимое сборище, примечательное и числом, и подноготной, и норовом, и даровитостью. Но самой примечательной из всех была ..

Сеси.

Сеси. На самом-то деле ради нее и наведывались сюда все родичи, а обняв ее, не торопились восвояси. Чудесных талантов у нее было множество — как зерен в спелом гранате. Вернее сказать, был у нее один-единственный дар, который искрился бесконечными узорами. В ней уживались все чувства всех живых созданий. В ней уживались все страсти, от первой до последней, какие с незапамятных времен изображались на холсте, на подмостках, на экране. Что ни попросишь — все исполнит.

Попроси вырвать у тебя душу, словно больной зуб, и унести к облакам, чтобы охладить пыл,— так

она и сделает: поднимется ввысь, да еще облака выберет такие, которые набухли дождем, сулящим свежую траву и ранние цветы.

Попроси взять все ту же душу и облечь ее плотью дерева — наутро проснешься и почувствуешь: на ветках у тебя висят яблоки, а на зеленой макушке среди листвы распевают птицы.

Попроси обратить тебя в лягушку — и будешь днями напролет барахтаться в болоте, а по ночам квакать, выводя свои лягушачьи трели.

Захочешь стать чистым ливнем — и напитаешь собою все, что есть сущего. Захочешь стать луной — и тут же увидишь внизу затерянные города, выбеленные твоим сиянием до цвета савана, клуберозы и бестелесного призрака.

Сеси. Она брала твою душу вместе с мудростью и наделяла ею хоть зверя, хоть росток, хоть камень — только слово скажи.

Понятное дело, Родня к ней тянулась. Понятное дело, никто не спешил прощаться после обеда, все засиживались допоздна после ужина, не расходились далеко за полночь — и так неделю за неделей!

Так вот, четверо двоюродных братьев тоже наведались в гости.

И на закате первого дня, почитай, хором спросили:

— А можно?..

Они стояли рядком в хозяйском доме, подле ложа Сеси, а та не выбиралась из постели ночами напролет и даже в полдень, потому что родным и близким все время требовались ее таланты.

— Что «можно»? — с ласковой улыбкой переспросила Сеси, не открывая глаз. — Чего вам хочется?

— Мне... — начал Том.

— Как бы это... — сказали Уильям и Филип.

— А ты сумеешь?.. — спросил Джон.

— Перенести вас в здешнюю психушку, — угадала Сеси, — и показать, что творится в головах у дуриков?

— Точно!

— Сказано — сделано! — кивнула Сеси. — Идите к себе в сарай и ложитесь спать.

Все четверо помчались со всех ног. Улеглись.

— Молодцы. Повернулись бочком, сели торчком... и полетели гуськом! — промолвила она.

Их души вырвались наружу, как пробки. Воспарили, как птицы. Блестящими, но невидимыми иголками проникли в большие и маленькие уши, коих предостаточно было в лечебнице для умалишенных, что стояла за оврагом, у подножья холма.

— Ах! — Увиденное привело их в восторг.

Пока братья витали, где им хотелось, сарай сгорел дотла.

Домочадцы, охваченные паникой, сбились с ног, пока таскали воду, и никто не задумался, что же хранилось в том сарае, куда подевались братья-летуны и к чему приложила руку Сеси, которая сейчас крепко спала. До того безмятежен был сон общей любимицы, что она даже не услышала, как завывает пламя, и не ужаснулась, когда рухнула крыша, похоронившая четыре факела в виде человеческих фигур. А двоюродные братья не сразу сообразили, каково будет жить дальше, если от тела остался один пшик. Но вскоре небеса содрогнулись от немого грома: он прокатился по всей округе, дал пинка бестелесным духам погибших братьев, раскружил их четверку на крыльях ветряной мельницы и опустил на ветки деревьев. В это мгновение Сеси охнула и спустила ноги на пол.

Подбежав к окошку, она выглянула во двор и закричала так, что братья пулей примчались домой. А ведь до того как грянул гром, все четверо находились в разных палатах: они отворяли двери в головах умалишенных и сквозь вихри конфетти разглядывали многоцветье безумия и темную радугу кошмаров.

Родичи замерли вокруг пожарища. На крик Сеси все как один обернулись.

— Что тут стряслось? — прокричал Джон из ее уст.



— Да объясните же! — слетели у нее с языка слова Филипа.

— Ну и дела! — охнул Уильям, обводя двор ее глазами.

— Сарай сгорел, — сказал Том. — Нам каюк!

Черная от сажи, пропахшая дымом Родня, которая теперь смахивала на шутовскую похоронную процессию, в остоленении глядела на Сеси.

— Сеси! — разгневалась Матушка. — Ты не одна? Кто там у *тебя*?

— Это я — Том! — прокричал Том ее губами.

— И я — Джон.

— Филип.

— Уильям!

Духи отзывались языком Сеси.

Родня замерла в ожидании.

Тогда четыре молодых голоса хором задали самый последний, сокрушительный вопрос:

— А вы *хоть одно тело* спасли?

Родичи так и ушли в землю на целый дюйм, пришибленные ответом, который не отважились вымолвить.

— Погодите-ка... — Сеси оперлась на локти, чтобы ощупать подбородок, лоб и губы, за которыми теперь точно так же опирались на локти четверо бойких призраков. — Пойдите, а что мне с ними делать? — Ища ответа, она вглядывалась свер-

ху в лица родичей.— Не могу же я таскать с собою двоюродных братьев! Им не ужиться у меня *в гостиной!*

Что еще она кричала после этого, какие слова четверки братьев перекатывались, точно камешки, у нее под языком, что отвечали на это родичи, метавшиеся, как паленые куры, по всему двору,— никому не ведомо.

Потому что в этот миг, словно в день Страшного суда, рухнули стены сарая.

Огонь с глухим ревом улетал в дымоход. Октябрьский ветер так и норовил прильнуть к черепице, чтобы подслушать беседу, которую вела собравшаяся в столовой Родня.

— Если получится...— заговорил Отец.

— Никаких «если»! — воскликнула Сеси, у которой глаза делались то синими, то желто-зелеными, то карими, то почти черными.

— ...хорошо бы парней наших куда-нибудь определить. Найти для них временный приют, а уж после, когда подберем каждому новое тело...

— Чем скорей, тем лучше,— донеслось из рта Сеси: грубый голос, потом тонкий, грубый — тонкий, безо всяких переходов.

— Джозефа можно подселить к Биону, Тома — к Леонарду, Уильяма — к Сэму, а Филипа...

Поименованные дядя насупились и зашаркали подошвами по полу.

За всех высказался Леонард:

— Недосуг нам. И так забот по горло. У Биона — лавка, у Сэма — ферма.

— Как же так...— У Сеси со стоном вырвалось четырехголосое отчаяние.

Отец в потемках опустился на стул:

— Вот беда! Неужто среди нас не отыщется добряк, у которого времени хоть отбавляй, да к тому же имеется свободный уголок на задворках сознания или в трюме подсознания? Добровольцы! Встать!

Тут родичи похолодели: со своего места поднялась Бабушка, тыча куда-то тростью, как ведьма — помелом:

— Вот кому время девать некуда. Вот кого я предлагаю, выдвигаю и к сему прилагаю!

Словно марионетки на одной веревочке, все изумленно повернулись в ту сторону, где сидел Дедуля.

Дедуля вскочил, как от выстрела.

— Ни за что!

— Молчок! — Бабушка опустила веки в знак того, что вопрос закрыт, сложила руки на груди и что-то промурлыкала. — У тебя времени пруд пруди.

— Христом Богом молю!

— Это,— не открывая глаз, Бабушка наугад обвела комнату круговым жестом,— Родня. В целом

мире другой такой не найдешь. Мы особенные, дивные, необыкновенные. Днями спим, ночами разгуливаем, летаем с ветрами по воздуху, странствуем с грозами, читаем мысли, чурасемся спиртного, любим кровушку, ворожим, живем вечность или тысячу лет — как повезет. Одним словом, мы — Родня. А раз так, на кого же нам еще опереться, на кого положиться в трудный час?..

— Ни за какие коврижки...

— Молчок. — Один глаз открылся, вспыхнул, как алмаз раджи, потускнел и снова закрылся. — По утрам ты хандришь, днем маешься от безделья, ночью изводишься. Четверке двоюродных не место у Сеси в мозгах. Куда это годится: в голове у хрупкой девушки — четыре здоровенных парня. — Тут Бабушка подсластила свои речи. — Заодно научишь их уму-разуму. Ведь на твоей памяти Наполеон пошел на Россию и еле унес ноги, а Бен Франклин подцепил дурную болезнь. Мальчишек надо хотя бы на время затолкать тебе в ухо. Что у тебя там внутри, в черепушке, — одному богу известно, но если повезет, повторяю, если повезет, ребятам все же станет веселее. Неужели ты откажешь им в такой малости?

— Силы небесные! — Дедуля вскочил с места. — Еще не хватало, чтобы у меня в голове потасовки начались, от правого уха до левого! Да эти жереб-

цы мне чердак снесут! Чего доброго, начнут мои глазные яблоки гонять, как футбольные мячи! Мой череп — это вам не постоянный двор. Ну да ладно, пусть заходят, только по одному! Том с утра пораньше будет мне поднимать веки. Уильям за обедом подсобит еду глотать. Джон, глядишь, ближе к вечеру доберется до мозга костей да подремлет в холодке. А уж ночью пусть Филип резвится у меня под крышей, сколько влезет. Но мне и для себя пожить хочется. Да, кстати, чтоб перед уходом навели у меня в мозгах порядок!

— Так тому и быть! — Бабушка еще раз описала в воздухе дугу, словно дирижируя оркестром-призраком. — Ясно вам, ребятки? Заходи по одному!

— Ясно! — грянуло изо рта у Сеси.

— Пошел! — скомандовал Дедуля.

— Дорогу! — потребовали четыре голоса.

Поскольку никто не уточнил, кому из братьев следует войти первым, среди фантомов началась сутолока, в воздухе повеяло незримой грозой и могучим ураганом.

У Дедули на лице промелькнули четыре выражения. Тщедушное тело содрогнулось от четырех подземных толчков. Четыре улыбки гаммами пробежали по клавишам зубов. Старик и охнуть не успел, как четыре разные походки с разной скоростью понесли его прочь из дому, по травке, а там —

с воплями протеста и заливистым смехом — по старым шпалам, в сторону полного соблазнов города.

Родня столпилась на крыльце, провожая глазами диковинную процессию из одной персоны.

— Сеси! Сделай же что-нибудь!

Но Сеси, вконец обессилев, уже спала в кресле как убитая.

Вот так-то.

На другой день, ровно в двенадцать, к станции пыхтя подкатил неуклюжий синий паровоз, а на платформе уже выстроилась вся Родня, поддерживая под руки согбенного Дедулю. Его буквально внесли в сидячий вагон, где пахло свежей морилкой и нагретым плюшем. Дедуля, смежив веки, без умолку разговаривал на разные голоса, но Родня делала вид, что ничего особенного не происходит.

Его опустили на сиденье, как тряпичную куклу, нахлобучили поглубже соломенную шляпу, словно подвели ветхий дом под новую крышу, и принялись напутствовать:

— Дедуля, сиди прямо. Дедуля, шляпу не потеряй. Дедуля, в дороге не пей. Слышь, Дедуля? Расступитесь-ка, милые, дайте старику сказать.

— Я все слышу, — чирикнул Дедуля, по-птичьи скосив глаза. — И страдаю за их грехи. Они пьют, а мне — похмелье. Дьяволыщина!

— Наговаривает! Враки! Мы-то при чем? — возмущались голоса то в одном, то в другом углу рта. — Глупости!

— Молчок! — Это Бабушка ухватила старика за подбородок и тряхнула, чтобы кости встали на место. — К западу от Октября лежит Кранамокетт, до него рукой подать. Там у нас все свои: дядья, тетки, двоюродные-троюродные, многосемейные и бездетные. Твоя задача — легче легкого: доедешь до места, высадишь ребят...

— Чтоб у меня больше голова о них не болела, — буркнул Дедуля, и с этими словами из-под дрогнувшего века выкатилась одинокая слеза.

— А коли не сумеешь посадить этих оборотов, должен вернуть их домой в целости и сохранности!

— Если они меня не доконают.

— Счастливо оставаться! — слетели у него с языка четыре голоса.

— До свидания! — Родня махала с платформы. — В добрый час, Дедуля, Том, Уильям, Филип, Джон!

— И я с ними! — раздался девичий голосок. У Дедули отвисла челюсть.

— Сеси! — вскричала Родня. — Будь здорова!

— И вам не хворать, — сказал Дедуля.

Поезд потянулся в горы, к западу от Октября.

---

На длинном повороте Дедуля стал клониться вбок и поскрипывать.

— Эй,— шепнул Том,— кажись, приехали.

— И верно. Тишина.

Потом Уильям тоже сказал:

— Кажись, приехали.

Опять повисло молчание. Паровоз дал гудок.

— Что-то я притомился,— посетовал Джон.

— Ты притомился! — хмыкнул Дедуля.

— Запашок тут...— отметил Филип.

— Неудивительно. Дедуле-то десять тысяч лет.

Верно, Дедуля?

— Всего четыре тыщи, не болтай ерунды! — Дедуля постучал по черепу костяшками пальцев. В голове заматались испуганные птицы.— Тише вы там!

— Ну, будет, будет,— примирительно зашептала Сеси.— Я прекрасно выпалась и могу тебя немного проводить, Дедуля,— научу, как лучше содержать, укрощать и оберегать этих воронов и стервятников у тебя в клетке.

— Кто тут ворон? Кто тут стервятник? — возмутились двоюродные.

— Замолчите.— Сеси утрамбовала братьев, как табак в давно не чищенной трубке. Тело ее было далеко — оно привычно спало в постели, а разум тихо витал среди них, осязал, толкался, заво-  
ра-



живал, усмирал.— Скажите «спасибо». Вы только посмотрите вокруг.

Братья огляделись.

И верно, у Дедули под темечком было уютно, как в тепле чердака: сложив прозрачные крылья, вокруг покоились воспоминания, перетянутые ленточками, разложенные стопками и пачками, укутанные в саваны, припорошенные тенями. Самые яркие вспыхивали то тут, то там лучами янтарного света, а из каждого луча отливало и чеканилось где золотой час, где летний денек. От пожелтевших сводов, под которыми теперь толкались невидимые локти, тянуло потертой кожей и паленым конским волосом да еще, едва уловимо, какой-то неопрятностью.

— Глянь,— перешептывались братья.— Чтоб я сдох! Ничего себе!

Затаив дыхание, они теперь заглядывали в пыльные бойницы стариковских глаз и видели огромный, огнедышащий паровоз, который уносил их сквозь бронзово-зеленый осенний мир, проносившийся мимо, будто поток машин перед подернутыми паутиной окнами старого дома. Когда они заговорили Дедулиными устами, голос получился глуховатый, как у ржавого церковного колокола. Между тем в волосатые уши назойливыми радиопомехами врываются голоса летящего мира.

— Ну ладно,— смирился Том,— лучше уж так, чем вовсе без тела.

— Голова кружится,— сказал Джон.— Не могу привыкнуть к бифокальным стеклам. Дедуля, сними очки, сделай одолжение.

— Блажь!

Поезд загрохотал по мосту.

— Надо поглядеть, что там делается,— решил Том.

У Дедули начали подрагивать руки-ноги.

— Не дергайся, малец!

Дедуля крепко зажмурился.

— Открой ставни, Дедуля! Поглядеть охота!

Глазные яблоки вращались под веками.

— Вон девчонка красивая, вся из себя ладненькая! Не теряйся!

Дедуля зажмурился еще крепче.

— На всем свете другой такой не сыщешь!

Не удержавшись, Дедуля приоткрыл один глаз.

— Наконец-то! — сказали все хором.— Есть на что посмотреть, верно, Дедуля?

— Блажь!

Девушка раскачивалась из стороны в сторону, наклонялась вперед и откидывалась назад в такт движению поезда,— хорошенькая, как игрушка, которую можно выиграть на ярмарке, посшибав молочные бутылки.

— Эка невидаль! — Дедуля захлопнул свои окна.

— Сезам, откройся!

В тот же миг его зрачки были повернуты в нужную сторону.

— Не смей! — закричал Дедуля. — Меня Бабушка прибьет!

— Да она не узнает!

Девушка обернулась, будто ее окликнули. Потом стала клониться назад, готовая упасть на всех и каждого разом.

— Одумайтесь! — вопил Дедуля. — Ведь с нами Сеси! Она невинна, да к тому же...

— Невинна! — Чердак содрогнулся от хохота.

— Дед, — тихо промолвила Сеси, — после всех моих ночных приключений, после всех странствий, не так уж я и...

— Невинна, — подхватили братья.

— Я бы попросил! — запротестовал Дедуля.

— Нет, это я бы тебя попросила, — шепотом продолжала Сеси. — Мне тысячу раз доводилось летними ночами прошивать насквозь окна спальни. Я блаженствовала на хрустких снежных простынях, подложив под голову сугробы, купалась голышом в августовский полдень, а потом лежала на берегу, где меня разглядывали птицы...

— Не желаю... — Дедуля заткнул уши, — этого слушать!

— А придется.— Ее голос летел над прохладными лугами, припоминая.— Я опускалась на теплое, летнее девичье лицо и смотрела на какого-то парня, и в тот же миг вселялась в этого парня, чтобы обжигать горячим дыханием и не сводить глаз с вечно летней девушки. В брачную пору вселялась я и в мышей, и в трепетных неразлучников, и в нежных голубков. Пряталась в бабочках, соединившихся на цветке клевера...

— Кошмар! — содрогнулся Дедуля.

— Я мчалась в снях декабрьской ночью: падал снег, из розовых лошадиных ноздрей валил пар, а я куталась в меха вместе с шестерыми седоками, шарила под теплой полостью, что-то искала и находила, а потом...

— Хватит! Сил моих нет! — вскричал Дедуля.

— Браво! — вскричали двоюродные.— Бис!

— ...а потом я проникла в сказочный замок из плоти и крови — в прекраснейшую женщину!..

Дедуля остолбенел.

Как будто на него опустилась снежная пелена, заставившая молчать. Он явственно ощутил: у лица качаются цветы, на ухо шепчет легкий июльский ветерок, тело согревается теплой волной, на щедедушном стариковском торсе набухает грудь, а внизу живота расцветает огненный бутон. Сеси говорила, а его губы делались мягкими и сочны-

ми, еще чуть-чуть — и с этих губ сорвалась бы неудержимая лавина стихов; жилистые, словно изъеденные ржавчиной пальцы опустились на колени, стали наливаясь сливками, молоком, талым яблочным снегом. Опустив глаза, он в ужасе стиснул кулаки, чтобы окончательно не обабиться!

— Не хочу! Верни мои руки! Прополощи мне рот!

— Хватить трепаться. — Это заговорил внутренний голос — Филип.

— Только время теряем, — подхватил Том.

— Надо бы познакомиться с той девчонкой, что сидит через проход, — сказал Джон. — Все согласны?

— Все! — пропел в одно горло вокальный квартет. Дедуля подскочил — его словно дернули за невидимые веревочки.

— Возражений нет?

— Есть! — вскричал Дедуля.

Он надавил себе на веки, надавил на темя, надавил на ребра. Чудовищное ложе, потеснившее все его нутро, обрушилось, увлекая за собой перепуганных узников.

— Вот вам!

Братья рикошетом запрыгали в потемках.

— На помощь! Сеси! Тут темно — хоть глаз выколи! Посвети, Сеси!

— Я здесь,— отозвалась Сеси.

До старика что-то дотронулось: ушипнуло, пощекотало, почесало за ухом, пробежало по спине. У него дрогнули колени, скрипнули лодыжки. В горло набились перья, в носу зашипало от гари.

— Уилл, левая нога, шевелись! Том, правая нога, оп-па! Филип, правая рука! Джон, левая! Резко! А я подхватчу цыплячье туловище. Готовы? Дружно!

— Раз-два!

— Взяли! Живо!

Дедуля побежал.

Только не через проход, а вдоль вагона — охая и сверкая глазами.

— Стой! — грянул античный хор. — Девчонка не там! Эй, кто-нибудь, поставьте ему подножку! Ноги-то у кого? У тебя, Уилл? У Тома?

Дедуля распахнул дверь, выскочил в продуваемый ветром тамбур и уж примерился было спрыгнуть в пролетающие мимо подсолнухи. Как вдруг:

— Замри! Примерзни! — раздалось у него из рта.

Он так и примерз к задней площадке стремительно несущегося поезда.

Через мгновение, подхваченный какой-то силой, он снова очутился в вагоне. На повороте его бросило прямехонько в объятия к той миловидной девушке.

— Прошу...— Дедуля вскочил,— меня простить.

— Прошаю.— Девушка широко раскрыла объятия.

— Нет-нет, умоляю, не затрудняйтесь, не нужно! — Дедуля рухнул в кресло напротив и зажмурился.— Черт! Проклятье! А ну, замрите! Убирайтесь на чердак, вампиры! Чтоб вам пусто было!

Братья с ухмылкой заткнули ему уши воском.

— Не забываетесь! — процедил сквозь зубы Дедуля.— Где вы, молодые жеребцы, а где я, полутруп!

— Ну и что? — пропел камерный квартет за сомкнутыми веками.— С нами и ты станешь молодым жеребцом!

Он почувствовал, как в животе подожгли шнур, от которого в груди рванула бомба.

— Нет!

В потемках Дедуля дернул за какой-то шнурок. Распахнулась потайная дверца. Братья кубарем полетели в бесконечный, манящий лабиринт многоцветья и памяти. Где явственно виднелись какие-то фигуры, такие же манящие и почти такие же теплые, как сидящая напротив девушка. На лету братья вопили:

— Эй, полегче!

— Где это я?

— Том!

— Я где-то в Висконсине! Как меня сюда занесло?

— А я на пароходе, плыву по Гудзону! Уильям! Уильям откликнулся откуда-то издалека:

— Я в Лондоне. Вот угораздило! В газете число: двадцать второе августа тысяча девятисотого года!

— Не может быть! Сеси!

— Сеси тут ни при чем! Это все я! — сообщил вездесущий Дедуля. — Вы все у меня вот где, на чердаке, будь он неладен, и пользуетесь моей памятью о местах и встречах, как бумажными полотенцами. Берегите головы, потолок-то низкий!

— Ну-ну, — хмыкнул Уильям, — тогда что же я разглядываю сверху — Большой Каньон или морщину на твоей мошонке?

— Большой Каньон, — подтвердил Дедуля. — Год тысяча девятьсот двадцать первый.

— Здесь женщина! — воскликнул Том. — Со всем близко!

В ту пору, двести весен тому назад, женщина была чудо как хороша. Имени ее Дедуля не помнил. Она попросту оказалась рядом в теплый полдень, когда он жадно срывал сладкие плоды.

Том потянулся к прекрасному видению.

— Руки прочь! — прикрикнул Дедуля.



И ее лицо растворилось в прозрачном летнем воздухе. Женщина улетала все дальше и дальше, туда, где кончалась дорога, и вскоре окончательно скрылась из виду.

— Черт тебя раздери! — взвился Том.

Братья пришли в неистовство: они распахивали двери, носились по тропинкам, хлопали ставнями.

— Глядите! Вот это да! Глядите! — закричали все вразнобой.

Воспоминания лежали аккуратными штабелями — миллион в глубину, миллион в ширину. Рассортированные по секундам, минутам, часам. Вот смуглая девушка расчесывает волосы. Вот она гуляет, бежит, спит. Каждый ее жест хранился в ячейках цвета загара и ослепительной улыбки. Можно было ее поднять, закружить, отослать прочь, позвать назад. Только скажи: Италия, год тысяча семьсот девяносто седьмой — и вот она уже танцует в согретой солнцем беседке или плывет по лунным водам.

— Дед! А Бабушка про нее знает?

— Как пить дать, у тебя и другие были!

— Тысячи! — воскликнул Дедуля. Он приоткрыл одно веко: — Полюбуйтесь!

Тысяча женщин двигалась вдоль магазинных полок.

— Да ты хват, Дедуля!

От правого уха до левого в Дедулиной голове начались раскопки и пробеги — по горам, выжженным пустыням, узким тропкам, большим городам.

Наконец Джон схватил под локоток прелестную одинокую незнакомку.

Взял ее за руку.

— Не смей! — Дедуля в гневе вскочил с места. Пассажиры глазели на него в изумлении.

— Попалась! — сказал Джон.

Красавица обернулась.

— Болван! — зарычал Дедуля.

Вся стать красавицы вдруг скукожилась. Вздернутый подбородок заострился, щеки обвисли, глаза ввалились и утонули в морщинах.

Джон отпрянул:

— Бабушка, никак это ты?!

— Сеси! — Дедулю затрясло. — Засунь Джона хоть в птицу, хоть в камень, а лучше брось в колодец! В моей дурьей башке ему не место! Ну же!

— Убирайся, Джон! — приказала Сеси.

И Джон исчез.

Он переселился в малиновку, которая распевала на заборе, промелькнувшем за окнами поезда.

Бабушка, совсем увядшая, осталась стоять в темноте. Дед коснулся ее ласковым мысленным взором, чтобы к ней вернулась молодая стать. Глаза, щеки, волосы вспыхнули свежими красками.

Тогда он надежно припрятал ее в далеком безымянном саду.

Дедуля открыл глаза.

На оставшуюся троицу братьев хлынул солнечный свет.

Юная девушка все так же сидела на своем месте.

Дедуля поспешил зажмуриться, но было поздно. Братья поднялись за его взором.

— Какие же мы дураки! — сказал Том. — Что толку перебирать старье? Настоящее — вот оно! Эта девчонка! Правда ведь?

— Правда! — шепотом подтвердила Сеси. — Слушайте меня! Сейчас я перенесу Дедулю в ее тело. Потом перенесу ее разум в Дедулину голову! С виду он так и останется сидеть в кресле как чучело, а уж мы с вами покувыркаемся, попрыгаем, зададим жару! Даже проводник ни о чем не догадается! Дедуля сидит себе и сидит, даром что у него в голове хохот и свальный грех. А тем временем его собственный разум побудет в голове у этой милашки! Неплохое будет приключение: прямо в вагоне, средь бела дня, а другим невдомек.

— Давай! — разом сказали все трое.

— Ни за что. — Дедуля извлек из кармана белые пилюли и проглотил сразу две.

— Останови его! — завопил Уильям.

— Фу ты, — расстроилась Сеси. — Такой был отличный, веселый, хитроумный план.

— Всем доброй ночи,— пожелал Дедуля; снотворное уже начинало действовать.— А вас, дитя мое,— ласково заговорил он, глядя слипающимися глазами на юную попутчицу,— вас только что удалось спасти от такой судьбы, которая хуже десяти тысяч смертей.

— Как вы сказали? — не поняла девушка.

— Ты все еще тверда в непорочности своей,— пробормотал Дедуля, погружаясь в сон.

Ровно в шесть часов поезд прибыл в Кранамокетт. Только тогда Джона вернули из ссылки, избавив от него малиновку, что пела на заборе.

Ни один из тамошних родственников не пожелал взять к себе братьев.

Через три дня Дедуля погрузился на поезд и поехал обратно в Иллинойс, а в голове у него персиковыми косточками перекатывались четверо двоюродных.

Там они и остались: каждый отвоевал себе местечко на солнечно-лунном чердаке у Дедули.

Том поселился с капризной субреткой в Вене тысяча восемьсот сорокового, Уильям обосновался в Лейк-Каунти с блондинкой неопределенного возраста, родом из Швеции, а Джон болтается по злачным местам от Сан-Франциско до Берлина и Парижа, изредка вспыхивая озорным огоньком в Дедулином взгляде. Что до Филипа, тот уеди-

нился в чулане и читает все книги, которые Дедуля прочел за свою долгую жизнь.

А Дедуля ночами нет-нет да и подкатится к Бабушке под одеяло.

— Да ты что! — возмущается она и переходит на крик: — В твои-то годы! Брысь отсюда!

И давай его тузить, и тузит до тех пор, пока он, хохоча в пять голосов, не откатывается на свою половину; там он притворяется спящим, а сам только и ждет удобного момента, чтобы застать ее врасплох пятью разными подходцами.

## *Последний цирк*

Холодной ноябрьской ночью Джергис Красный Язык (так его прозвали за то, что он вечно сосал красные леденцы), примчавшись ко мне под окно, издал вопль в сторону жестяного флюгера на крыше нашего дома. Когда я высунулся на улицу, из рта вырвалось облачко пара:

— Чего тебе, Красный Язык?

— Тихоня, выходи! — крикнул он. — Цирк!

Через три минуты я уже сбегал с крыльца, вытирая о коленку два яблока. Красный Язык приплясывал, чтобы не окоченеть. Решили до станции бежать наперегонки: кто продует, тот старый пень.

На бегу мы грызли яблоки, а город еще спал.

У железнодорожных путей мы остановились послушать, как гудят рельсы. Откуда-то издалека сквозь предрассветную тьму в наши края спешил — сомнений не было — настоящий цирк. Его приближение дрожью отдавалось в рельсах. Я приложил ухо к металлу:

— Едет!

И верно, вскоре из-за поворота черным вихрем вылетел паровоз: впереди огонь и свет, позади — клубы дыма. Товарные вагоны снаружи освещались зелеными и красными гирляндами, а изнутри оглашались рыком, визгом и гвалтом. На станции все пришло в движение, по сходням шествовали слоны, катились клетки; с первыми лучами солнца звери, циркачи, Красный Язык и я уже вышагивали по улицам, направляясь к пустоши, где каждая травинка сверкала хрусталем, а с кустов, если задеть ветку, обрушивался целый ливень.

— Ну и дела, Крас,— поразился я.— Только что было пустое место. А теперь — глянь!

Мы смотрели во все глаза. На пустыре расцвел огромный шатер, как японский цветок на холодном пруду. Зажглась иллюминация. Не прошло и получаса, как в воздухе потянуло горячими блинчиками; кругом зазвенел смех.

Все это нас заворожило. Прижав руку к груди, я почувствовал, что сердце колотится прямо под ладонью, как игрушечный попрыгунчик. Мне хотелось только смотреть вокруг и вдыхать этот запах.

— Айда домой! Жрать охота! — гаркнул Крас и дал мне пинка, чтобы обойти на старте.

— Отдышись и умойся,— потребовала мама, оторвавшись от стряпни.

— Блинчики! — Меня изумил ее дар предвиденья.

— Как там цирк? — Отец посмотрел на меня поверх газеты.

— Классно! — сказал я. — Вообще!

Умывшись холодной водой из-под крана, я придвинул стул в тот самый миг, когда мама поставила на стол блины. Она протянула мне кувшинчик:

— Возьми сироп.

Я набросился на еду, а отец поудобнее сложил газету и вздохнул:

— Куда катится этот мир, ума не приложу.

— А ты не читай газеты по утрам, — сказала мама. — От них бывает расстройство желудка.

— Полюбуйтесь! — воскликнул отец, ткнув пальцем в газетную полосу. — Бактериологическое оружие, ядерная бомба, водородная бомба. Это заслонило все другие события!

— У меня, например, — сказала мама, — на этой неделе будет большая стирка.

Отец нахмурился:

— Неудивительно, что мир катится в тартарары: люди сидят на пороховой бочке, а мысли у них — о стирке. — Расправив плечи, он придвинулся ближе к столу. — Задумайтесь: тут сказано, что одна ядерная бомба нового поколения может стереть с лица земли весь Чикаго. А от такого города, как наш, и кляксы не останется. Меня не покидает мысль: как это все прискорбно.

— Что прискорбно? — не понял я.



— Для достижения нынешнего уровня человечество потратило миллионы лет. Мы научились строить города, большие и малые, буквально на пустом месте. Представьте: сто лет назад нашего города не было и в помине. Сколько понадобилось трудов и усилий, чтобы возвести его по кирпичику — а что дальше? Бах — и конец!

— Ну нет, с нами такого не случится,— сказал я.

— Вот как? — фыркнул отец.— Это почему же?

— Не может такого быть, и все.

— Хватит вам. Оба хороши.— Тут мама кивнула в мою сторону.— Ты мал еще, чтоб в этом разбираться.— Потом она кивнула в папину сторону.— А ты годами стар, да разумней не стал.

Завтрак продолжился в молчании. Потом я спросил:

— Пап, а что здесь было, когда города не было?

— Ничего. Озеро да пригорки, вот и все.

— А индейцы?

— Вряд ли. Просто безлюдная местность: леса, холмы, больше ничего.

— Передай-ка сироп,— сказала мама.

— Бум! — заорал Крас.— Я — атомная бомба! Трах-бах!

Мы стояли в очереди перед кинотеатром «Элит». Настал самый знаменательный день в году. С утра

пораньше мы отправились к цирку и торговали шипучкой вразнос, чтобы заработать на билеты. После полудня нас ожидало кино про индейцев и ковбоев, а вечером — цирковое представление! Мы ощущали себя настоящими богатеями и давились от хохота. Крас, без усталости изображавший атомную бомбу, вопил:

— Бабах! Полный распад!

На экране ковбои гнались за индейцами. Через полчаса индейцы погнались за ковбоями — в обратном направлении. Публика устала топтать ногами, и тут начались мультфильмы, которые сменились кадрами кинохроники.

— Гляди, атомная бомба! — Крас впервые за весь день притих.

На экране поднималось огромное серое облако, потом оно развеялось, а линкоры и крейсера почему-то разломались на части; пошел дождь.

Крас ухватил меня за руку выше локтя, а сам впился глазами в пылающую белизну.

— Во дает, скажи, Дуг! — Он ткнул меня в бок.

— Супер-дупер. — Хохотнув, я дал ему сдачи. — Мне б такую бомбу! Раз — и школы нет!

— Хрясь! Прощай, Клара Холмквист!

— Бум! Лети, полисмен О'Рурк!

---

На ужин были мясные фрикадельки с фасолью, зеленый салат и горячие булочки. Отец с непривычно угрюмым видом попытался изложить нам важные научные факты, вычитанные в каком-то журнале, но мама отрицательно покачала головой.

Я не сводил с него глаз.

— Пап, ты не заболел?

— Завтра же отменю эту подписку,— сказала мама.— От таких волнений можно язву заработать. Папа, ты меня слышишь?

— А мы такой фильм смотрели! — сообщил я.— Там атомная бомба разнесла эсминец.

Отец выронил вилку и уставился на меня в упор:

— У тебя, Дуглас, есть поразительная способность говорить самые неподходящие вещи в самый неподходящий момент.

Я заметил, что мама, скосив глаза, пытается поймать мой взгляд.

— Время идет,— сказала она.— Беги-ка в цирк, а то опоздаешь.

Надевая пальто и шапку, я слышал приглушенный голос отца:

— Давай продадим наш магазин. Что скажешь? Мы с тобой давно хотели куда-нибудь съездить, хотя бы в Мексику. Найдем подходящий городок. Может, там и поселимся.

— Ты хуже ребенка,— зашептала мать.— Слышать этого не хочу.

— Я и сам понимаю, это глупости. Не обращай внимания. Кстати, ты права: подписку надо аннулировать.

От ветра деревья сгибались пополам, небо усеяли звезды; посреди холмистой пустоши огромной бледной поганкой вырос цирк-шапито. Красный Язык в одной руке держал пакет воздушной кукурузы, в другой леденец, к подбородку — в точности как у меня — прилипли клочья сахарной ваты.

— Видал: борода растет! — веселился Красный Язык.

Публика оживленно переговаривалась в ярком свете фонарей, а служитель цирка колотил по брезенту бамбуковой палкой и громогласно возвещал, что на манеж выйдут Скелет, Женщина-Гора, Разрисованный Человек и Ластоногий Мальчик. Мы с Красом протиснулись сквозь толпу к билетерше, которая разорвала наши билеты пополам.

Как только мы нашли свои места и уселись на дощатую скамью, снизу грянул большой барабан, а на манеже появились слоны в богатом убранстве. И началось: в горячих лучах софитов солдаты палили из огнедышащих гаубиц; гимнастки, держась одними лишь белыми зубами, порхали, словно

мотыльки, под куполом в облаках табачного дыма; акробаты раскачивались на трапеции среди шестов и канатов; заключенные в клетку львы мягко ступали по опилкам, а дрессировщик в белых лосинах постреливал из серебряного пистолета, извергавшего пламя и дым.

— Вот это да! — орали мы с Красом в один голос, то жмурились, то тарасились, ахали и охали, заливались хохотом, удивлялись, не верили, поражались, веселились, задыхались от восторга и, разинув рты, пожирали глазами артистов.

По манежу грохотали колесницы, из горящих окон выпрыгивали клоуны, волшебные ящики превращали лысого человека в волосатого, а великана — в карлика. Оркестр пел, гудел и гремел, зал сверкал всеми цветами радуги, обдавал жаром и слепил блестками, публика неистовствовала.

Когда представление уже близилось к концу, я оторвал взгляд от манежа. И позади своего места заметил маленькую дырочку в брезенте. И через эту дырочку увидел старую пустошь, продуваемую ветрами, и одинокие звезды в небе. Холодный ветер легонько теребил шатер. И почему-то, обернувшись туда, где царило тепло, я содрогнулся от холода. Рядом хохотал Красный Язык, но я уже вполглаза следил за эквилибристами, которые, взгромоздясь на серебряный велосипед, баланси-

ровали где-то в вышине на тонкой проволоке под скороговорку — тра-та-та-та-та-та-та-та-та — малых барабанов и зачарованное молчание зала. Потом на арену высыпали клоуны, числом не менее двух сотен, и стали дубасить друг друга по головам — тут Красный Язык совсем зашелся и едва не сполз со своего места. Я сидел как истукан, и вскоре Красный Язык это заметил:

— Эй, ты чего, Дуг?

— Ничего.

Я встряхнулся. Обвел глазами крашенные распорки шатра, канаты, лепящие гирлянды. Оглядел набеленных клоунов и выдавил смешок:

— Вон там, Крас, до чего потешный толстяк!

Оркестр наяривал «Сивую кобылу».

— Кажись, все,— выдохнул Красный Язык.

Мы не спешили вставать со своих мест, а сотни и сотни довольных зрителей уже толкались в проходах, смеясь и болтая. В шатре висел густой табачный дым; духовые инструменты сиротливо свернулись калачиком на деревянном барьере, из-за которого только что обрушивались громоподобные волны музыки.

Нам не хотелось верить, что представление окончено, потому мы и приросли к месту.

— Ладно, пошли отсюда,— сказал Крас, но сам не пошевелился.

— Подождем еще,— отозвался я без всякого выражения, глядя в пространство.

Мне казалось, деревянные планки у меня под задницей исстрадались за долгие, непостижимые часы музыки и пестроты. Униформисты сновали по залу, ловко разбирая ряды сидений, чтобы подготовить их к вывозу. Брезент уже снимали с крюков. Со всех сторон слышался лязг, звон и треск: это цирк распадался на части.

Шатер опустел.

У выхода мы помедлили; в глаза летела пыль, деревья с шепотом роняли листву. А ветер гнал прочь и отжившие листья, и неугомонных людей. Иллюминация погасла. Мы поднялись на ближайший косогор и оттуда, провожая глазами уплывающие в сумрак синие огни и белесые очертания слонов, стучали зубами от холода и слушали перебранку циркачей под скрежет выдираемых из земли распорок. У нас на глазах шатер испустил последний вздох и тяжело осел на землю.

Через час грунтовая дорога пришла в движение от множества повозок, машин и золоченых клеток. Бледная пустошь обезлюдела. В небе поднималась луна, а роса превращалась в иней. Мы побрели лугом, вдыхая запах опилок.

— Ничего не осталось,— сказал Красный Язык,— одни опилки.

— Вот дырка от шеста,— заметил я.— А вон там еще одна.

— Как будто ничего и не было,— выговорил Крас.— Как будто мы сами это придумали.

Ветер гулял по опустевшему луку, а мы смотрели, как дрожат голые деревья. Кругом не было ни огонька, ни шороха, даже цирковой запах постепенно улетучился.

— Слышь,— ухмыльнулся Крас, шаркая подошвами,— влетит нам — мало не покажется, если не явимся домой *час назад!*

Подгоняемые ветром, мы уныло брели вдоль пустынной дороги, засунув руки в карманы. Оставили позади притихший глубокий овраг, прошли окраинными закоулками среди спящих домов, откуда изредка доносились едва различимые звуки радио, слышали последнего сверчка и зацокали каблуками по грубой брусчатке центральных улиц в неверном, тусклом свете фонарей, горевших на каждом углу.

Я разглядывал дома и деревянные заборы, скаты крыш и освещенные окна, разглядывал все деревья, все камни мостовой. Разглядывал то свои башмаки, то Краса, который семенил рядом, клацая зубами. На здании суда, до которого было не менее мили, разглядел башенные часы, воздевшие бледный лик в сторону луны среди нагромождения черных городских построек.



— Пока, Дуг.

Я не ответил. Крас поплелся дальше, петляя между домами, а потом свернул за угол.

Прокравшись наверх, в спальню, я уже через минуту лежал в постели и смотрел в окно.

Наверно, мой брат Скип долго слушал, как я плачу, прежде чем решился положить руку мне на локоть.

— Что случилось, Дуг?

— Да так,— беззвучно всхлипнул я, не открывая глаз.— В цирке был.

Скип выжидал. Возле дома кругами ходил ветер.

— Ну и что?

— Да ничего. Просто он больше не придет.

— Приедет, куда он денется,— сказал Скип.

— Нет, он уехал навсегда. И больше не вернется. Там ничего не осталось — пустое место.

— Тебе поспать надо.— Скип перевернулся на другой бок.

Слезы высохли. Где-то вдали еще светилось несколько окон. На станции прогудел паровоз; он двинулся с места и разогнался среди холмов.

Затаив дыхание, я лежал с открытыми глазами, пока безмолвные оконца далеких игрушечных домишек не угасли во мраке одно за другим.

## *Лорел и Гарди: роман*

Он прозвал ее Стэнли, она называла его Олли.

Так было в начале, так было и в конце того романа, который мы озаглавим «Лорел и Гарди».

Ей было двадцать пять, ему — тридцать два, когда они познакомились в какой-то компании, где каждый потягивал коктейль и не понимал, зачем пришел. Но почему-то в таких случаях никто не торопится домой: все много пьют и лицемерно повторяют, что вечер удался на славу.

Как это часто бывает, они не заметили друг друга в переполненной комнате, и если во время их встречи играла романтическая музыка, ее не было слышно. Потому что гости громко беседовали, разбившись на пары, хотя смотрели при этом на других.

Они, можно сказать, блуждали в человеческом лесу, но не находили спасительной тени. Он шел

за очередной порцией спиртного, а она пыталась отделаться от назойливого ухажера, когда их пути пересеклись в самой гуще бессмысленной толчеи. Они несколько раз одновременно шагнули влево-вправо, рассмеялись, и он ни с того ни с сего помахал ей длинным концом галстука, пропустив его сквозь пальцы. А она, не задумываясь, подняла руку и растрепала себе волосы, часто моргая и делая вид, будто ее ударили по макушке.

— Стэн! — вскричал он, узнав этот жест.

— Олли! — воскликнула она. — Где ты был раньше?

— Ну-ка, помоги! — потребовал он, разводя руки широким театральным жестом.

Смеясь, они схватили друг друга за локти.

— Я... — начала она, и ее лицо еще больше прояснилось, — я знаю точное место — всего-то в паре миль отсюда, — где Лорел и Гарди в тысяча девятьсот тридцатом году волокли по лестнице пианино в ящике: полторы сотни ступенек вверх, а потом кубарем вниз!

— Раз так, — обрадовался он, — срочно едем туда!

Хлопнула дверца его машины, заурчал двигатель.

Лос-Анджелес проносился мимо в последних лучах солнца.

Он затормозил в указанном ею месте.

— Это здесь!

— Даже не верится,— пробормотал он, не двигаясь, и оглядел предзакатное небо. Где-то внизу Лос-Анджелес зажигал первые огни.

— Неужели это та самая лестница? — кивком указал он.

— Ровно сто пятьдесят ступенек.— Она выбралась из открытого автомобиля.— Подойдем поближе, Олли.

— Непременно,— сказал он и добавил: — Стэн.

Они дошли до того места, где склон круто уходил вверх, и засмотрелись, как бетонные ступеньки отвесно поднимаются в небо. Его глаза слегка затуманились. Она тут же притворилась, что ничего не заметила, но на всякий случай взяла его под руку. И словно между делом предложила:

— Хочешь — поднимись. Давай. Иди.

И легонько подтолкнула его к лестнице.

Он зашагал наверх, вполголоса отсчитывая ступеньки, и с каждым шагом его голос набирал децибелы радости. Досчитав до пятидесяти семи, он превратился в мальчишку, играющего в любимую игру — старую, но открытую заново; он потерял представление о времени и, более того, не понимал, тащил ли он пианино вверх или убегал от него вниз.

— погоди! — донесся откуда-то издалека ее возглас.— Задержись там, где стоишь!

Раскачиваясь и улыбаясь, будто в компании дружелюбных привидений, он остановился на пятидесяти восьмой ступеньке, а потом обернулся.

— Отлично,— услышал он ее голос.— Теперь спускайся.

Раскрасневшись, с затаенным чувством восторга, теснившим грудь, он побежал вниз. Ему явно слышалось, как следом катится пианино.

— Остановись-ка еще разок!

У нее в руках был фотоаппарат. Заметив это, он непроизвольно поднял правую руку и вытащил галстук, чтобы помахать ей, как в первый раз.

— Теперь моя очередь! — крикнула она и побежала вверх, чтобы передать ему камеру.

От подножья ступенек он смотрел на нее снизу вверх, а она, забавно пожимая плечами, соорудила смешную и печальную гримасу Стэна, растерянного, но влюбленного в жизнь. Он щелкал затвором фотоаппарата, желая только одного — остаться в этом месте навсегда.

Медленно сойдя по ступенькам, она вгляделась в его лицо.

— Эй,— сказала она,— у тебя глаза на мокром месте.

Она провела по его щекам большими пальцами. Попробовала влагу на вкус.

— Вот так раз,— сказала она,— настоящие слезы.

Он заглянул ей в глаза и увидел в них почти такую же влагу.

— «Опять влипли», — процитировал он.

— Ах, Олли, — вырвалось у нее.

— Ах, Стэн, — вырвалось у него.

Он нежно поцеловал ее.

А потом спросил:

— Мы теперь всегда будем вместе?

— Всегда, — подтвердила она.

Так начался их долгий роман.

Конечно же, у них были настоящие имена, но это не имело никакого значения, потому что лучших имен, чем Лорел и Гарди, нельзя было придумать.

Тем более что ей не хватало фунтов пятнадцати веса, и он постоянно пытался заставить ее набрать недостающее. А в нем было двадцать фунтов лишку, и она постоянно пыталась заставить его сбросить что-нибудь более весомое, чем ботинки. Но все было напрасно, и в конце концов это вошло в неизменную поговорку: «Ты — Стэн, сомнений нет, а я — Олли, что ж тут поделаешь. Господи, девочка моя, будем наслаждаться тем, во что мы влипли!»

Так оно и было, пока все шло хорошо, и, надо сказать, длилось это довольно долго; французы в таких случаях говорят *parfait*, американцы — *per-*

*fection\**, имея в виду помешательство, от которого не излечиться до конца жизни.

После того предзакатного часа, проведенного на памятной кинолестнице, потянулась беззаботная череда смешливых дней, знаменующая самое начало и стремительное развитие любого бурного романа. Они прекращали смеяться только для того, чтобы начать целоваться, и прекращали целоваться только для того, чтобы посмеяться над своей чудесной и удивительной наготой, когда видели себя со стороны на кровати, необъятной, как сама жизнь, и прекрасной, как утро.

Восседаая посреди этой дышащей теплом белизны, он закрывал глаза, покачивал головой и торжественно заявлял:

— Нет слов!

— А ты придумай! — подначивала она.— И скажи!

И он говорил, и они опять летели в бездну с края земли.

Первый год был просто сказкой и мечтой, которая вырастает до невероятных пределов, если вспоминаешь о ней тридцать лет спустя. Они бежали в кино, на новые фильмы и на старые, но в основном на фильмы Стэна и Олли. Все лучшие

---

\* Parfait (*фр.*), perfection (*англ.*) — совершенство.

сцены они выучили наизусть и разыгрывали их, проезжая по ночному Лос-Анджелесу. Чтобы ей было приятно, он говорил, что детство, проведенное в Голливуде, наложило на нее неизгладимый отпечаток, а она, чтобы доставить удовольствие ему, делала вид, будто он все тот же парнишка, который когда-то катался на роликовых коньках перед знаменитыми киностудиями.

Однажды у нее это вышло особенно удачно. Почему-то она решила уточнить, где именно он гонял на роликах, когда чуть не сбил с ног Уильяма Филдза и попросил у того автограф. Филдз тогда подписал книгу, отдал ее обратно и процедил: «Держи, стервец!»

— Давай съездим туда,— предложила она.

В десять вечера они вышли из машины напротив студии «Парамаунт», и он, указав на тротуар рядом с воротами, сказал:

— Вот здесь это и произошло.

Тут она обняла его, поцеловала и нежно спросила:

— А где ты сфотографировался с Марлен Дитрих?

Он перевел ее на другую сторону и остановился шагах в пятидесяти.

— Марлен стояла на этом самом месте,— сказал он,— в последних лучах солнца.



На этот раз поцелуй длился еще дольше, а месяц уже выплыл из темноты, как из шляпы неумелого фокусника, и залил светом улицу перед опустевшим зданием. Ее душа струилась к нему, будто из склоненной чаши, и он отпил, вернул чашу обратно и преисполнился радости.

— Ну хорошо,— тихонько сказала она,— а где ты видел Фреда Астера в тысяча девятьсот тридцать пятом, Роналда Колмэна в тридцать седьмом и Джин Харлоу в тридцать шестом?

Они до полуночи объезжали эти места в разных концах Голливуда, подолгу стояли в темноте, она целовала его, и казалось, все это будет длиться вечно.

Так прошел первый год. В течение этого года они ежемесячно, а то и чаще, поднимались и спускались по той длинной лестнице, на полпути откупоривали бутылку шампанского и как-то раз сделали невероятное открытие.

— Наверно, все дело в наших губах,— сказал он.— До встречи с тобой я и думать не думал, что у меня есть губы. У тебя самые волшебные губы на свете: из-за этого мне начинает казаться, что и в моих есть какая-то магия. Ты до меня целовалась с кем-нибудь по-настоящему?

— Никогда!

— Я тоже. В жизни не задумывался, какие бывают губы.

— Твои — чудо, — сказала она. — Не утомляй их разговорами, лучше поцелуй меня.

Впрочем, к концу первого года обнаружилось кое-что еще. Он работал в рекламном агентстве и был привязан к одному месту. Она работала в бюро путешествий, и ее ждали служебные поездки по всему миру. Раньше они об этом как-то не думали. Осознание пришло как извержение Везувия; когда вулканическая пыль начала оседать, они внезапно поднялись среди ночи, переглянулись, и она еле слышно сказала:

— Прощай...

— Что? — переспросил он.

— Мне видится прощание, — сказала она.

Ему бросилось в глаза, что ее лицо затуманила печаль, но не такая, как у экранного Стэна, а ее собственная.

— Как у Хемингуэя в одном романе — ночью двое едут в машине и говорят: как нам хорошо было бы вместе, а сами знают, что все кончено, — сказала она.

— Стэн, — проговорил он, — при чем тут роман Хемингуэя? Это же не конец света. Ты меня никогда не покинешь.

На самом деле это был вопрос, а не утверждение; она соскользнула с кровати, а он протер глаза и спросил:

— Что ты там ищешь?

— Дурачок,— сказала она,— я стою на коленях и прошу твоей руки. Женись на мне, Олли. Полетим вместе во Францию. Меня переводят в Париж. Нет, ничего не говори. Молчи. Совершенно излишне распространяться о том, что в этом году я буду зарабатывать нам на жизнь, а ты будешь писать великий американский роман...

— Но ведь...— начал он.

— У тебя есть портативная печатная машинка, бумага и я. Ну что, Олли, едем? Так уж и быть, жениться не обязательно, будем жить во грехе, но давай полетим вместе, прошу тебя.

— А вдруг через год все рухнет, и мы окажемся в западне?

— Да ты никак боишься, Олли? Не веришь в меня? В себя? Во что-то еще? Боже, почему мужчины все такие трусы, откуда, черт возьми, у вас такая щепетильность, почему вы не можете положиться на женщину? Слушай, у меня хорошая работа, поехали со мной. Я не могу оставить тебя здесь, ты упадешь с той проклятой лестницы. Но если ты меня вынудишь, я уеду одна. Мне нужно все сразу — и сейчас, а не завтра. Я имею в виду тебя, Париж, мою работу. Писать роман — дело долгое, но ты справишься. Итак, либо ты пишешь его здесь и клянешь судьбу, либо мы с тобой уезжаем далеко-далеко и снимаем каморку без лифта и горячей воды где-нибудь в Латинском квартале?

Это все, что я могу тебе сказать, Олли. Первый раз в жизни делаю предложение руки и сердца, первый и последний — ужасно больно стоять на коленях. Ну как?

— У нас, кажется, уже был такой разговор? — спросил он.

— Раз десять за последний год, но ты меня не слушал, ты был глух.

— Не глух, а глуп. От любви.

— Даю тебе минуту, чтобы принять решение. Шестьдесят секунд. — Она посмотрела на часы.

— Встань с пола, — смущенно выдавил он.

— Если я это сделаю, то закрою за собой дверь и уйду навсегда, — сказала она. — Осталось сорок пять секунд, Олли.

— Стэн, — взмолился он.

— Тридцать. — Она следила глазами за стрелкой. — Двадцать. Я уже стою на одном колене. Десять. Начинаю подниматься. Пять. Время истекло.

Она выпрямилась в полный рост.

— Что на тебя нашло? — спросил он.

— Ничего, — сказала она. — Иду к дверям. Не знаю. Может, я слишком много об этом думала, но боялась себе признаться. Мы с тобой — необыкновенная, удивительная пара, Олли. Вряд ли есть в этом мире другая такая пара. Как ни крути, ни ты, ни я ничего похожего больше не найдем. Хо-

тя, наверно, это самообман. Во всяком случае, с моей стороны. Но мне придется уехать, и ты волен поехать со мной, однако не можешь решиться или просто ничего не понимаешь. Вот, смотри,— она двинулась вперед,— я держусь за дверную ручку и...

— И?..— тихо спросил он.

— У меня текут слезы,— ответила она.

Он хотел подняться, но она покачала головой:

— Нет, не надо. Если ты прикоснешься ко мне, я не выдержу, и все полетит к черту. Я уйду. Но каждый год буду отмечать день примирения, или день прощения, называй как хочешь. Раз в год, в день и час нашей первой встречи, я буду подниматься по той же лестнице, где больше нет никакого пианино в ящике, и если ты тоже туда придешь, я смогу тебя похитить, или ты — меня, но не пытайся пустить мне пыль в глаза или облить презрением.

— Стэн,— сказал он.

— О господи,— вырвалось у нее.

— Что такое?

— Дверь тяжелая. Не поддается.— Она всхлипнула.— Вот. Еще немного. Сейчас.— Ее душили рыдания.— Я ушла.

Дверь захлопнулась.

— Стэн! — Подбежав к порогу, он вцепился в дверную ручку, которая оказалась мокрой. Преж-

де чем открыть дверь, он поднес пальцы к губам и слизнул соленую влагу.

В холле было пусто. Даже разрубленный ее уходом воздух мало-помалу приходил в себя. Как только две половины сомкнулись, прогремел гром. Надвинулось предвестие дождя.

В течение трех лет он неукоснительно приходил к этим ступеням четвертого октября, но она так и не появилась. Потом как-то забыл и пропустил два года, но на шестой год осенью вспомнил, вернулся туда на закате солнца и стал подниматься наверх, потому что увидел на полпути какой-то предмет, оказавшийся бутылкой дорогого шампанского; с ленточки свешивалась записка, в которой говорилось:

*«Олли, милый Олли.*

*Помню нашу дату. Живу в Париже. Губы уже не те, но в браке счастлива.*

*С любовью,*

*Стэн».*

С той поры он даже не приближался к этой лестнице, когда наступал октябрь. Стук падающего пианино, от которого было не спрятаться, грозил застать его врасплох и завести неведомо куда.

Это был конец, или почти конец, романа под названием «Лорел и Гарди».

Их последняя встреча произошла по счастливой случайности.

Пятнадцать лет спустя он приехал во Францию с женой и двумя дочерьми. Как-то вечером, прогуливаясь с семьей по Елисейским полям, он заметил привлекательную женщину, идущую навстречу в сопровождении солидного пожилого мужчины и славного темноволосого мальчугана лет двенадцати — явно ее сына.

Когда они поравнялись, их лица в одно мгновение озарила одинаковая улыбка.

Глядя на нее, он помахал длинным концом галстука.

Глядя на него, она взъерошила волосы.

Они не остановились. Просто пошли дальше. Но по Елисейским полям пролетели звуки ее голоса, последние слова, которые он от нее услышал:

— «Опять влипли!» — и прежнее, незабываемое имя, которым она звала его в пору их любви.

Для приличия немного выждав, жена и дочери подняли на него удивленные взгляды, и одна из девочек спросила:

— Та женщина назвала тебя Олли?

— Какая женщина? — переспросил он.

— Папа, — сказала другая дочь, заглядывая снизу ему в лицо, — у тебя глаза на мокром месте.

— Ничего подобного.

— Я же вижу. Правда, мам?

— Ты ведь знаешь,— сказала его жена,— у нашего папочки все может выжать слезу, даже телефонная книга.

— А вот и нет,— возразил он,— только лестница и пианино. Как-нибудь покажу вам это место, девочки, если не забуду.

Не останавливаясь, он напоследок оглянулся. Женщина, гулявшая с мужем и сыном, тоже оглянулась в этот самый миг. Может быть, он прочел по ее губам: «Счастливо, Олли». А может, и нет. Но его губы сами собой беззвучно шепнули: «Счастливо, Стэн».

И тогда Елисейские поля развели их в разные стороны под последними лучами октябрьского солнца.



## *Спроси, зачем мы пришли*

Когда он приехал, в ресторане было безлюдно. Шесть часов — время еще раннее, посетители в хороший день собираются позже, и это его устраивало, потому что нужно было подготовиться. Он смотрел со стороны, как его руки машинально разворачивают салфетки у трех приборов, переставляют бокалы для вина, сдвигают и перекладывают ножи, вилки и ложки, будто сам он сделался метрдотелем или новоявленным шаманом. Он слышал, как с языка слетает то бессмысленный речитатив, то приглушенное заклинание, ведь он понятия не имел, как это бывает, но отступать было некуда.

Он собственноручно откупорил вино, а официанты стояли в отдалении, перешептываясь с шеф-поваром, и кивали в его сторону, будто заподозрив в нем помешанного.

Но на чем помешанного — он и сам не знал. На своей жизни? Пожалуй, нет. Скорее, нет. Иног-

да и вовсе нет. Как бы то ни было, сегодня вечером он ждал перемен.

Надеялся получить хоть какие-то ответы или толику успокоения.

Налив себе немного вина, он оценил аромат, пригубил с закрытыми глазами, дождался послевкусия. Годится. Не сказать, что отличное, но годится.

В третий раз передвигая столовые приборы, он думал: у меня две проблемы. Это дочери, которые далеки и непонятны, как марсианки. И еще родители — это главная проблема.

Потому что их уже двадцать лет как нет в живых.

Не важно. Раз он молился, раз безмолвно просил, истово звал, собирая всю свою волю, научился замедлять сердцебиение и сосредоточивать беспокойные мысли на зелени близлежащей лужайки, все должно было получиться. Отец и мать как по волшебству восстанут из праха, поднимутся, пройдут три квартала по вечернему бульвару и как ни в чем не бывало войдут в этот ресторан, словно...

Ну и ну, я и бокала вина еще не выпил, подумал он и, резко развернувшись, вышел на тротуар. Полузакрыв скользящую входную дверь, он пристально разглядывал темнеющие вдаль кладбищенские ворота. Да. Почти полная готовность.

Вернее сказать, он-то готов. Но... готовы ли *они*? Правильно ли выбрано время? Для него — конечно, а вот... Салфетки и столовые приборы, разложенные письменами надежды, доброе вино на столе... сослужит ли это свою службу?

Хватит, приказал он сам себе и перевел взгляд от далеких кладбищенских ворот на ближайшую телефонную будку. Только сейчас он отпустил дверь-ширму, зашел в будку, бросил в щель десять центов и набрал номер.

На автоответчике был записан голос дочери. Он закрыл глаза и молча повесил трубку, отрицательно покачав головой. Набрал другой номер. У второй дочери просто никто не отвечал. Он дал отбой, напоследок посмотрел в сторону кладбища, которое в опускающихся сумерках уже не казалось таким близким, и поспешил вернуться в ресторан.

Там повторилось то же самое: бокалы, салфетки, столовые приборы, дотронуться, переложить, коснуться, переставить, чтобы в каждый из этих предметов перетекла его энергия, чтобы они, как и он сам, прониклись надеждой. Удовлетворенно кивнув, он занял свое место за столом, внимательно осмотрел столовые приборы, тарелки, бокалы для вина, сделал три глубоких вдоха, закрыл глаза, сосредоточился и начал истово молиться в ожидании.

Ему было известно: если долго ждать и горячо желать...

Они придут, сядут, поздороваются с ним, как обычно: мать поцелует в щеку, отец схватит за руку и крепко сожмет, в конце концов громкие приветствия поутихнут, и тогда можно будет начать прощальный ужин в ресторане этого заштатного городка.

Прошло две минуты. Он слышал, как тикают часы на запястье. И больше ничего.

Прошла еще минута. Он сосредоточился. Начал молиться. Сердце билось совсем тихо. И опять ничего.

Еще минута. Он прислушивался к своему дыханию. Показалось: вот сейчас. Сейчас, черт возьми. Давайте же!

Сердце у него запрыгало.

Дверь в зал открылась.

Не поднимая головы, не открывая глаз, он затаил дыхание.

Кто-то направлялся к его столику. Кто-то остановился. Кто-то смотрел на него сверху.

— Я уж думала, мы никогда больше не дождемся от тебя приглашения на ужин,— сказала ему мать.

Когда он открыл глаза, она как раз наклонилась поцеловать его в висок.

— Сколько лет, сколько зим! — Отец схватил его за руку и крепко пожал.— Как жизнь, сынок?

Сын вскочил, едва не опрокинув бокал.

— Отлично, пап. Привет, мам! Садитесь, что же вы, садитесь, прошу вас!

Почему-то они так и остались стоять. Все в замешательстве смотрели друг на друга, будто оглушенные, пока...

— Да не волнуйся, тут все свои,— сказала мать.— Что ж ты так долго нас не звал? Ведь...

— Много воды утекло, сын.— Отец все еще сжимал его руку стальной хваткой. Он подмигнул, словно уверяя, что не в обиде.— Мы все понимаем. У тебя дел по горло. Ты в порядке, сын?

— В порядке,— ответил сын.— Только... *соскучился!*— Тут он порывисто прижал к себе их обоих, потому что на глаза навернулась влага.— А вы...— Он осекся и покраснел.— Я хочу сказать...

— Не смущайся, сынок,— сказал отец.— У нас все нормально. Поначалу пришлось туговато. С непривычки. Как, черт возьми, это выразить словами? Никак, поэтому и не буду...

— Джордж, умоляю, хватит болтать, распорядись насчет столика,— вмешалась мать.

— Это и есть наш столик,— сказал сын, указывая на свободные места. Он вдруг сообразил, что не зажег свечу, и дрожащими руками сделал это сейчас.— Садитесь. Выпейте вина!

— Твоему отцу пить вредно...— начала мать.

— Ей-богу, — сказал отец, — *теперь* это не имеет никакого значения.

— Совсем забыла. — У матери возникло странное ощущение, будто она только что примерила новое платье и заметила, что все швы морщат. — Все время забываю.

— А другие забывают, что живут! — Отец рассмеялся в голос. — На восьмом десятке люди просто перестают это *замечать*. Забывают сказать: черт побери, ведь я жив! В данном случае ты точно так же...

— Джордж, — перебила мать.

— Ничего удивительного, — продолжал отец, устраиваясь за столом раньше жены и сына. — Пока человек еще не родился на свет — это одно состояние, пока живет — второе, а уж после — третье. И не надо стесняться говорить вслух: эй, я на первой отметке, я на второй! Ничего не попишешь, мы теперь — на третьей и, как твоя мама призналась, иногда об этом забываем. Зато я могу пить сколько влезет!

Он разлил вино и залпом осушил свой бокал:

— Недурно!

— Разве ты можешь судить? — вырвалось у сына, но он тут же прикусил язык.

К счастью, отец этого не расслышал и похлопал по сиденью стула:

— Садись, ма!

— Не говори мне «ма». Меня зовут Элис!

— Садись давай, Ма-Элис!

Мать осторожно присела на стул по одну сторону от него, а сын — по другую.

Только сейчас, когда все немного успокоились, сын как следует рассмотрел, во что одеты родители.

Отец пришел в твидовом пиджаке, в брюках-гольф и ярких гетрах с орнаментом. Апельсинового цвета туфли до блеска начищены, вокруг шеи повязан галстук — черный в оранжевую полоску, на голове кепи с широким отворотом, вроде бы из коричневого твида, совсем новое.

— Шикарно выглядишь, отец. И ты, мам...

Мать выбрала для такого случая элегантное пальто из тонкого серого кашемира, синее с белым шелковое платье и голубой шарф. Ее костюм довершала шляпка-колокол, какие носили стареющие модницы, прикрепляя рубиновыми булавками к безупречным локонам.

— Где я мог видеть эту одежду? — спросил сын.

Не дождавшись ответа, он вспомнил: на любительской фотографии, сделанной на лужайке у дома то ли в День поминовения, то ли в День независимости, четвертого июля, много лет назад. Они с братом, одетые в короткие брюки, курточки и кепки, исподтишка щипали друг друга, а сзади стояли родители, щурясь навстречу солнцу, которое навсегда осталось в том полуденном небе.

Отец, будто прочитав его мысли, сказал:

— Мы тогда как раз вернулись из церкви — дело было на Пасху, в тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Я отправился к заутрене в костюме для гольфа. Мать чуть в обморок не упала.

— Что за сплетни? — Мать порылась в сумочке, достала зеркальце, проверила, как накрашены губы, и подправила помаду мизинцем.

— Ничего особенного, Элис-ма. — Отец еще раз наполнил бокал, но теперь, под пристальным взглядом сына, стал пить медленнее.

— Когда распробуешь, вино хоть куда. Но крепкие напитки получше будут. Виски, к примеру. Где меню? Черт, вот же оно. Дайте-ка сюда.

Отец долго просматривал меню, вчитываясь в названия блюд.

— Почему тут все на французском? — возмутился он. — Неужели нельзя писать по-человечески? Кем они себя возомнили?

— Меню — на английском, папа. Смотри сюда. Видишь? — Сын провел ногтем по паре строк.

— Чтоб им пусто было, — фыркнул отец. — Почему же попросту не написать?

— Папуля, — сказала мать, — ты выбирай из того, что понятно.

— Терпеть не могу выбирать. А другие что едят? К примеру, вот за тем столиком? — Приглядыва-



ясь, отец подался вперед и вытянул шею.— На вид аппетитно. Закажу-ка и я то же самое.

— Твой папа,— сказала мать,— всегда так казывал. Если бы люди за тем столиком грызли кнопки или свиные желудки, он бы все равно заказал то же самое.

— Припоминаю,— тихо сказал сын и допил вино. Он глубоко вздохнул, подождал немного и выдохнул.

— Что *ты* будешь, мам?

— А *ты*, сынок?

— Бифштекс по-гамбургски...

— Ну и я за компанию,— сказала мать,— чтобы не создавать лишних сложностей.

— Мама,— возразил сын,— какие могут быть сложности? В меню три десятка блюд.

— Нет,— отрезала мать и, опустив меню, накрыла его салфеткой, будто маленькое бездыханное тельце.— Разговор окончен. Вкус моего сына — *мой* вкус.

Потянувшись за вином, сын обнаружил, что бутылка пуста.

— Ничего себе,— сказал он,— неужели мы всё выпили?

— «Мы» — это громко сказано. Закажи еще, сын. А пока давай я с тобой поделюсь.— Отец отлил ему половину своего бокала.— Такого вина можно хоть ведро выпить.

Официант принес еще вина, которое тут же было откупорено и разлито по бокалам.

— Береги печень! — напомнила мать.

— Это что: угроза или тост? — спросил отец.

Когда они в очередной раз подняли бокалы, сын поймал себя на мысли, что вечер не задался: беседа шла совсем не так, как рисовалось в мечтах.

— Твое здоровье, сын!

— И твое, папа. Мам, за тебя!

И снова он покраснел и умолк, потому что вспомнил то место, откуда сегодня появились родители — безмолвные ряды тесных пристанищ с мраморными крышами, на которых высечены звучные имена; такое место, где слишком много крестов и слишком мало ангелов.

— За ваше здоровье, — негромко повторил сын.

Мать наконец-то подняла свой бокал и пригубила не более капли, словно полевая мышка.

— Ой, — поморщилась она, — кислое.

— Вовсе нет, мам, — сказал сын. — Это такой сорт. Неплохое вино, поверь...

— Если оно такое хорошее, — возразила мать, — почему вы стараетесь его побыстрее проглотить?

— Ну, мать! — не выдержал отец. — Ты как скажешь!.. — Его разобрал смех, он хлопнул в ладоши, облокотился на стол и постарался напустить на себя серьезный вид. — Полагаю, тебе не терпится спросить, зачем мы пришли?

— Не *ты* же нас собрал, отец. *Он* нас позвал. Твой сын.

— Шучу, мамуля. Ну, сын, скажи, зачем ты это сделал?

Родители ждали ответа.

— Вы о чем?

— Зачем ты нас сюда позвал?

— Ах, вот оно что...

Наполнив опустевший бокал, сын промокнул лицо салфеткой — его прошибла испарина.

— Погодите,— сказал он,— мне надо собраться с мыслями...

— Не дави на него, папа, дай мальчику прийти в себя.

— Конечно, конечно,— согласился отец.— Просто нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы привести себя в надлежащий вид, выкроить время и проделать этот путь. К тому же...

— Отец...

— Нет уж, Элис, позволь мне договорить. Сын мой, милый мальчик, то *место*, где ты нас разместил,— далеко не самое лучшее.

— Не хуже других,— сказала мать.

— Гораздо хуже, и ты это знаешь.— Отец вилкой начертил это место на скатерти.— У черта на рогах, повернуться негде. Унылые задворки. Про отопление и говорить нечего!

— Ну, допустим, зимой бывает холодновато,— признала мать.

— Ничего себе «холодновато»! Такой мороз, что трещины идут во все стороны. А уж соседей и вспоминать противно!

— Ты всегда придирался к соседям, везде, в любых обстоятельствах,— заметила мать.— Соседи выезжали — ты говорил: «Попутный ветер». Новые въезжали, а ты: «Принесла нелегкая»...

— Здешние всех переплюнули. Сынок, ты не мог бы нам как-нибудь помочь?

— Помочь? — переспросил сын и подумал: боже мой, они просто не соображают, откуда пришли, не знают, где были двадцать лет, не понимают, почему там холодно...

— А летом слишком жарко,— продолжал отец.— Плависься от жары, а ботинки не снять. Не смотри на меня так, мама. Почему не сказать сыну все без утайки? Он что-нибудь придумает, правда ведь, сынок? Подыщет нам новое место...

— Да, папа.

— Голова болит, сын?

— Нет-нет.— Сын открыл глаза и потянулся за вином.— Я этим займусь. Обещаю.

Интересно, подумал он, доводилось ли кому-нибудь подыскивать в такой ситуации новое пристанище исключительно ради хорошего вида и приятного соседства? Позволено ли это законом? Да и

куда их везти? Куда они захотят перебраться? Может, в Чикаго? Есть там одно место, достаточно высокое...

Только теперь к их столику подошел официант, чтобы принять заказ.

— Мне — то же самое, что ему. — Мать кивнула на сына.

— Мне — то, что ест вот тот человек, — сказал отец.

— Бифштекс по-гамбургски, — заказал сын.

Официант ушел и вскоре вернулся. Они начали торопливо есть.

— У нас что, соревнование на скорость?

— Верно, куда спешить? Ах!

И тут вдруг все закончилось. Прошел ровно час. Опустив вилку и нож, сын допил четвертый бокал вина. Неожиданно его лицо озарилось улыбкой.

— Вспомнил! — воскликнул он. — Я же говорил, что мне надо собраться с мыслями! Почему я вас позвал, почему сюда вытащил!

— Ну? — подбодрила его мать.

— Говори, сын, — сказал отец.

— Я... — начал сын.

— Что?

— Я...

— Ну-ну?

— Я, — сказал сын, — люблю вас.

От его слов родители откинулись на спинки стульев. Они молча обменялись взглядами, ссутулившись и повесив головы.

— Слово даю, сынок, — промолвил отец. — Мы это знаем.

— Мы тоже тебя любим, — сказала мать.

— Да, это так, — срывающимся голосом подтвердил отец, — да.

— Но мы стараемся об этом не думать, — сказала мать. — Нам очень тяжело, когда ты нас не зовешь.

— Мама! — воскликнул сын и чуть не сказал: ты *опять* забываешься!

Вместо этого он пообещал:

— Я буду звать вас чаще.

— В этом нет нужды, — сказал отец.

— Поверьте, так и будет!

— Не давай обещаний, которые не намерен выполнять, вот мой принцип. Ладно, сынок. — Отец сделал глоток вина. — Что еще ты нам хотел сказать?

— Что еще? — Сын был поражен. Разве недостаточно того, что он признался им в большой, бесконечной любви... — Как сказать...

Он замялся. Посмотрел в окно ресторана на молчаливую телефонную будку, откуда звонил час назад.

— Мои дети... — начал он.

— Дети! — разволновался отец. — Ей-богу, как я мог забыть! Кто у тебя?..

— Дочки, кто же еще! — сказала жена, толкнув мужа локтем. — Что с тобой творится?

— Если ты за двадцать лет не поняла, что со мной творится, то объяснять без толку. — Отец повернулся к сыну. — Разумеется, дочери. Они сейчас совсем взрослые. А были такие крошки, когда мы в последний раз виделись...

— Погоди, пусть нам сын о них расскажет, — перебила мать.

— Рассказывать, собственно, нечего. — Сын неловко запнулся. — Тьфу ты. Много чего можно рассказать. Только зачем?

— А ты попробуй, — сказал отец.

— Бывает такое...

— Да?

— Бывает такое ощущение, — медленно продолжал сын, опустив глаза, — будто мои дочери — вдумайтесь: мои *дочери* умерли, а вы, *вы* живы! Как это объяснить?

— Почти во всех семьях происходит то же самое, — сказал отец, доставая сигару, отрезая кончик и закуривая. — Тебя не сразу поймешь, сынок.

— Пап... — укорила мать.

— Всегда так было и сейчас то же самое, это чистая правда. Я хочу сказать: его не сразу пой-

мешь. Но ты продолжай, а покамест плесни мне еще вина. Давай.

Сын налил ему вина и сказал:

— Не могу их понять. Поэтому у меня две проблемы. Вот я вас и позвал. Одна: мне очень плохо без вас. Вторая: мне очень плохо *без них*. Вот вам и загадка. Почему так получается?

— На первый взгляд...— начал отец.

— Такова жизнь,— с глубокомысленным видом кивнула мать.

— Это *все*, что вы можете посоветовать? — воскликнул сын.

— Извини, мы знаем, что ты сегодня расстался, ужин был на славу, вино первоклассное, просто мы от этого отвыкли, мой мальчик. Мы даже не помним, каким ты был! Что с нас возьмешь? Ровным счетом ничего! — Отец чиркнул спичкой и наблюдал, как пламя обволакивает очередную сигару.— Нет, сын. Проблема в другом. Неловко об этом говорить. Даже не знаю, как подступиться...

— Твой отец хочет сказать...

— Нет, я сам, Элис. Надеюсь, мой мальчик, ты не обидишься, ведь я же на тебя не обижаюсь...

— Что бы ты ни сказал, пап, я пойму,— уверил его сын.

— Господи, как тяжело.— Отец бросил сигару и прикончил следующий бокал вина.— Но нику-



да не деться: понимаешь, сынок, почему мы теперь так редко видимся...— Он задержал дыхание, а потом выпалил: — Да просто из-за твоей невыносимой занудливости!

На стол будто подбросили бомбу. Все трое замерли, уставившись перед собой.

— Что? — переспросил сын.

— Я сказал...

— Нет, нет, я слышал,— сказал сын.— Я слышал. Вам со мной невыносимо.— Он попробовал эти слова на вкус. Они отдавали горечью.— Вам со мной скучно? Боже! Вам со мной скучно!

Он залился краской, из глаз брызнули слезы, и вдруг он расхохотался во все горло, стуча по столу кулаком правой руки и прижимая левую руку к ноющей от боли груди, а потом вытер глаза салфеткой.

— Вам со мной скучно!

Отец с матерью для приличия помолчали, а потом тоже начали фыркать, посмеиваться, судорожно хватать ртом воздух. Наступила разрядка, а с ней пришло веселье.

— Извини, сынок! — кричал отец. Слезы текли у него из глаз, но сам он улыбался.

— Он не нарочно...— с трудом выговорила мать, которая раскачивалась туда-сюда, издавая смешки при каждом вздохе.

— Нет, нарочно, нарочно! — кричал сын. — Он это нарочно!

Теперь все в ресторане смотрели на веселящуюся троицу.

— Еще вина! — потребовал отец.

— Еще вина.

Когда из последней бутылки извлекали пробку и разливали по бокалам вино, все трое сидели в довольном молчании, улыбаясь и тяжело дыша. Сын поднял бокал и произнес тост:

— За того, кто самый занудливый!

Это их опять развеселило, они хохотали, отдувались, колотили руками по столу, утирали слезы радости, подталкивали друг дружку локтями.

— Ну, сын, — сказал наконец отец, немного успокоившись. — Уже поздно. Нам пора.

— Куда вам спешить? — хохотнул сын и тут же замолчал. — Да, верно. Я не подумал.

— Да не расстраивайся ты, — сказала мать. — Не так уж там и плохо, как отец расписывает.

— Понимаю, — тихо сказал сын, — но разве там не... тоскливо?

— Можно привыкнуть... Пейте вино. Так-то лучше!

Они допили вино, еще немного посмеялись, качая головами, потом вышли из дверей ресторана и окунулись в тепло летней ночи. Было только восемь часов, с озера дул легкий ветерок, в воз-

духе веяло ароматом цветов — хотелось просто идти без остановки куда глаза глядят.

— Давайте я вас провожу,— предложил сын.

— Нет, не стоит.

— Мы сами доберемся, сынок,— сказал отец.— Так будет лучше.

Они стояли и смотрели друг на друга.

— Ладно,— сказал сын,— зато весело провели время.

— Не так чтобы очень. Просто по-родственному. Да, по-родственному, потому что мы — одна семья, мы тебя любим, сынок, а ты любишь нас. Весело? Не очень-то подходящее слово. Скучновато, на самом деле — скучновато, но по-семейному: по-семейному скучновато. Доброй ночи, сынок.

Они еще немного помедлили, обнимаясь, целуясь и обливаясь слезами, напоследок дружно посмеялись, и родители направились по темному бульвару к своему низинному пристанищу.

Сын потоптался на месте, наблюдая, как их фигуры становятся все меньше и меньше, а потом отвернулся, зашел, почти не раздумывая, в телефонную будку, набрал номер и опять услышал автоответчик.

— Здравствуй, Элен,— сказал он и сделал паузу, потому что слова застревали в горле.— Это па-

па. Мы договаривались в четверг поужинать. Может, отменим? У меня все нормально. Просто много работы. Через пару дней позвоню, и мы это дело перенесем. Свяжись, пожалуйста, с Дебби — надо ее предупредить заранее. Люблю. Пока.

Он повесил трубку и всмотрелся в даль.

Родители как раз проходили сквозь железные кладбищенские ворота. Они оглянулись, помахали ему на прощанье и скрылись из виду.

Мама, папа, твердил он про себя. Элен. Дебби. И опять: Элен, Дебби, мама, папа. Им со мной *скучно*. Им скучно *со мной*! Черт возьми!

Смеясь сквозь слезы, он неторопливо вернулся в ресторан. Посетители начали коситься в его сторону.

Но он и бровью не повел, потому что спиртное, выпитое до дна, было как-никак очень приличного качества.

## *Прощай, «Лафайет»!*

У входа осторожно постучали; гость не воспользовался звонком, поэтому я догадался, кто пришел. Такой стук раньше повторялся раз в неделю, но в последнее время я слышал его через день. Прикрыв глаза, я помолился и пошел отпирать дверь.

Билл Уэстерли смотрел на меня слезящимися глазами.

— Это *мой* дом или *твой*? — спросил он.

Шутка была невеселой. В свои восемьдесят девять лет он, выходя погулять, запросто мог заблудиться в нашем квартале. За руль не садился давным-давно, с тех пор как укатил на тридцать миль от Лос-Анджелеса, вместо того чтобы свернуть к центру. Самое большее, что ему теперь было по силам, — это преодолеть расстояние от соседнего дома, где он жил со своей бесконечно доброй и терпеливой женой, до моей двери, в которую он и постучал, прежде чем войти, поблескивая слезами.

— Это *твой* дом или *мой*? — повторил он, переставив слова.

— *Mi casa es su casa\**, — процитировал я старую испанскую пословицу.

— Слава богу!

Я провел Билла в гостиную, где стояли наготове две рюмки и бутылка хереса, и усадил в кресло напротив. Тогда он вытер глаза, высморкался, аккуратно сложил носовой платок и вернул его в нагрудный карман.

— За тебя, везунчик. — Он поднял рюмку. — В небе от вашего брата уже тесно. До скорого. Но если что, положим траурный венок там, где найдем обломки.

Я отпил глоток, дождался, пока по жилам растечется тепло, а потом внимательно посмотрел на Билла:

— Опять эскадрилья ревет?

— Каждую ночь, как пробьет двенадцать. А теперь еще и по утрам. Всю прошлую неделю — даже днем. Впрочем, я не хотел тебе досаждать. Крепился три дня.

— Ясно. Мне вас не хватало.

— Ты очень добр, сынок. Золотое сердце. Но я понимаю, что в моменты просветления становлюсь жутко надоедливym. Сейчас у меня как раз

---

\* Мой дом — твой дом (*исп.*).

просветление: пью за твое здоровье и гостеприимство.

— Вы хотите об этом поговорить?

— Точно так же спрашивал один мой знакомый — психоаналитик. Нет, на прием к нему я не ходил, мы просто были приятелями. По-моему, разумнее ходить к тебе: ты и денег не берешь, и выпить наливаешь. — Он задумчиво осмотрел свою рюмку. — Плохо, когда тебя преследуют призраки.

— Такое со всеми бывает. Шекспир до этого своим умом дошел. Сам все понимал, других наставлял, психиатры у него учились. Не делайте зла, говорил он, иначе ваши призраки вам же и отомстят. И верно, совесть и раздумья, что людей пугают по ночам, восстанут и взовут: Гамлет, узнаешь ли меня? Макбет, ты отмечен, и ты отмечена, леди Макбет! Берегись, Ричард Третий, в твой стан придем с восходом солнца, и кровью пропитаются одежды.

— Красиво говоришь, ей-богу. — Билл тряхнул головой. — Удобно жить рядом с писателем. Потребовалась доза поэзии — пришел и получил.

— Меня частенько тянет на философию. Знакомые от этого лезут на стенку.

— Другие — возможно, милый мой везунчик, но только не я. Ведь ты совершенно прав. В отношении того, о чем мы говорили. В отношении призраков.

Он поставил рюмку и взялся за подлокотники, как за края кабины аэроплана.

— Теперь я все время летаю. Как будто сейчас тысяча девятьсот восемнадцатый год, а не восемьдесят седьмой. Будто я во Франции, а не в Штатах. В рядах славного «Лафайета». Стою рядом с Рикенбакером на взлетном поле, неподалеку от Парижа. И как только заходит солнце, появляется Красный Барон. Захватывающая у меня жизнь, верно, Сэм?

В знак особого расположения он называл меня самыми разными именами, которых у него в запасе было штук шесть-семь. Мне это даже нравилось. Я кивнул.

— Когда-нибудь напишу про вас книгу, — сказал я. — Не каждому писателю выпадает удача жить по соседству с ветераном эскадрильи «Лафайет», который совершал боевые вылеты и сражался против самого фон Рихтгофена.

— Ничего не получится, любезный Ральф. Словами этого не выразить.

— А вдруг я еще вас удивлю?

— Может быть, ей-богу, все может быть. Я тебе не показывал фотографию восемнадцатого года, на которой эскадрилья «Лафайет», включая и меня, выстроилась в полном составе перед нашим хлипким бипланом?



— Нет,— солгал я.— Дайте-ка взглянуть.

Он вытащил из бумажника маленькую фотокарточку и метнул ее через весь стол. Я сто раз видел этот снимок, но изобразил удивление и восторг.

— Вот я, невысокий паренек с дурацкой улыбкой — в середине слева, рядом с Рикенбакером.— Билл потянулся, чтобы ткнуть пальцем.

Глядя на этих покойников — действительно, почти все они давно ушли в мир иной,— я видел среди них Билла, двадцатилетнего, жизнерадостного, и остальные тоже были молоды, так молоды, просто не верилось; эти парни стояли обнявшись, кто-то держал в одной руке кожаный шлем, кто-то — защитные очки; за спинами летчиков виднелся французский биплан «7-1», а еще дальше — ровное взлетное поле, где-то вблизи Западного фронта. При взгляде на эту заколдованную картинку слышался рев мотора. И так каждый раз — стоило мне к ней прикоснуться. А еще порывы ветра и птичий щебет. Ни дать ни взять крошечный телеэкран. Казалось, эскадрилья «Лафайет» вот-вот очнется, придет в движение, запустит двигатели, разбежится и взлетит в немыслимо чистое, бездонное небо. В тот миг, что сохранила фотография, Красный Барон прятался за облаками, где и остался навечно, чтобы никогда больше не кос-

нуться земли, и это было правильно, потому что мы хотели верить (так уж устроены мальчишки и мужчины), что он там и поныне.

— Честное слово, люблю показывать тебе всякую всячину. — Билл разрушил магию момента. — Ты чертовски тонко чувствуешь детали. Жаль, тебя не было рядом, когда я подвизался на «МГМ».

Это был уже другой жизненный этап Уильяма (Билла) Уэстерли. Военные действия и съемки с высоты полумили на Западном фронте канули в прошлое, когда он вернулся в Штаты. В Нью-Йорке поработал в лаборатории фирмы «Кодак», перешел на какую-то мелкую киностудию в Чикаго, где когда-то начинала Глория Свенсон, а оттуда перебрался в Голливуд, на «Метро-Голдвин-Майер». Со съемочной группой «МГМ» отправился морем в Африку снимать львов и туземцев для фильма «Копи царя Соломона». На киностудиях разных стран он знал всех и вся — и сам был широко известен. Только в ранге главного оператора он снял не менее двухсот картин, и на каминной полке у него дома красовались два «Оскара».

— К несчастью, опоздал родиться, — сказал я. — А где та фотография, на которой вы вдвоем с Рикенбакером? И еще одна, с автографом фон Рихтгофена?

— Охота тебе их разглядывать, везунчик!

— Чтоб я сдох!

Достав бумажник, он бережно вытащил фотографию их двоих: его самого и капитана Эдди, а потом и снимок фон Рихтгофена в мундире, с собственноручным чернильным росчерком внизу.

— Их уже нет,— сказал Билл,— почти всех. Человека два живы, да еще я. Но недалеко уж то время,— он запнулся,— когда и меня не станет.

И тут у него опять навернулись слезы, которые стали катиться по щекам и капать с носа.

Я наполнил опустевший стакан.

Глотнув хереса, он признался:

— Честно говоря, смерть меня не пугает. Я просто боюсь, что попаду в *ад*!

— Вам это не грозит, Билл,— сказал я.

— Неправда! — Его возглас граничил с негодованием, глаза горели, в складках у рта скопились слезы.— За то, чем я занимался, прощения нет!

После паузы я тихо спросил:

— А чем вы занимались?

— Убивал совсем еще зеленых мальчишек, лишал жизни молодых парней, уничтожал хороших людей.

— Вы ничего подобного не делали, Билл,— сказал я.

— Нет, делал! В небе, черт побери, в воздухе над Францией, над Германией, много лет назад,

но, видит бог, каждую ночь они здесь, живые, опять летают, машут руками, кричат, хохочут, как дети, пока моим снарядом не снесет пропеллер, пока не загорятся крылья, пока их машина не закрутится в воздухе, прежде чем врезаться в землю. Одни даже машут мне, пока падают: мол, *все путем!* Другие проклинаяют. Но, Господь свидетель, каждую ночь, каждое утро, вот уже месяц, они постоянно со мной. О, те беспечные мальчишки, веселые парни, незлобивые лица, лучистые глаза — и... камнем вниз. Это сделал я. И за это буду гореть в аду!

— Вы не будете, повторяю, *не будете* гореть в аду,— сказал я.

— Плесни-ка мне еще, да прикуси язык,— сказал Билл.— Откуда тебе знать, кто будет гореть, а кто нет? Ты католик? Не похоже. Баптист? Баптисты горят медленнее. Достаточно. Спасибо.

Это я наполнил его рюмку. Он пригубил, но знакомый вкус перебивала горечь другой влаги.

— Уильям.— Я откинулся на спинку кресла и долил себе спиртного.— За грехи войны люди в аду не горят. Война есть война.

— Мы *все* будем гореть,— упорствовал Билл.

— Билл, сейчас в Германии сидит ваш ровесник, который терзается теми же мыслями и льет слезы в кружку с пивом, оттого что слишком много помнит.

— Так им всем и надо! Они будут гореть, он тоже сгорит, а перед глазами у него будут мои друзья, прекрасные ребята, которые попросту вошли в землю, когда их машина лишилась винта. А ты все свое: *они* не знали, *я* не знал. Никто не сказал *им*, никто не сказал *нам*.

— О чем вам не сказали?

— О том, что такое война. Господи, мы и не подозревали, что она нас еще настигнет, найдет спустя годы. Мы думали: все кончилось, можно забыть и похоронить память. Офицеры нам ничего не объяснили. Они, может, и сами не знали. А уж мы-то тем более. Никому не приходило в голову, что в старости мы застанем день, когда разверзнутся могилы и все, кто сгинул, вернутся, а с ними вернется война! Кто мог такое предположить? Откуда нам было знать? И вот это время пришло, в небе кружат самолеты, и будут кружить, пока их не собьют. А молодые пилоты машут мне до трех часов ночи, пока я снова их не убью. Господи. Какой ужас. Это невыносимо. Как их спасти? Все бы отдал, чтобы только вернуться в прошлое и сказать: «Боже милосердный, как же так, это несправедливо, кто-то должен был нас предостеречь, когда мы еще были счастливы: война — это не просто смерть, это воспоминания, и чем дальше, тем тяжелее, хотя и сразу после войны бывает неслад-

ко». Я желаю им добра. Как найти слова, как идти дальше?

— Не надо никуда идти,— негромко сказал я.— Просто посидите здесь, выпейте с другом. Не знаю, что еще сказать. К несчастью...

Билл не выпускал из рук рюмку, описывая в воздухе круги.

— Тогда я сам тебе кое-что скажу,— прошептал он.— После нынешней, от силы после завтрашней встречи мы с тобой больше не увидимся. Выслушай меня.

Он наклонился вперед, воздев глаза к высокому потолку, а потом стал смотреть в окно, за которым ветер собирал свинцовые тучи.

— Вот уже несколько ночей они приземляются у нас во дворах. Ты, скорее всего, их не слышишь. Ведь парашюты — как воздушные змеи, от них только шорох. Так вот, эти парашюты опускаются к нам на лужайки. Иногда падают только тела, без парашютов. Добрыми ночами с облаков слетает только шуршание строп и шелка. А недобрыми ночами слышно, как тело пилота всей своей тяжестью ударяется о землю. После этого не заснуть. Позавчера с десятков тел упало в кусты прямо под окном моей спальни. А сегодня ночью гляжу — небо заволочло дымом, а сквозь него видны самолеты, да еще сколько! Как это прекратить? Ты мне веришь?

— Можно кое-что сделать. Конечно, я верю. Он вздохнул, и с этим глубоким вздохом распахнулась его душа.

— Слава богу! Как же с этим быть?

— А вы не пробовали с ними заговорить? Точнее, попросить прощения?

— Кто меня будет слушать? Может, хотя бы простят? Боже мой,— вздохнул он.— А в самом деле! Почему бы не попробовать? Ты выйдешь со мной? К тебе во двор. Где нет деревьев, а то ветки мешают. Или хотя бы на крыльцо...

— Думаю, лучше на крыльцо.

Я открыл застекленную дверь гостиной и вышел. Кругом было тихо, только ветер шевелил кроны деревьев и передвигал тучи.

Билл остановился у меня за спиной, нетвердо держась на ногах; его лицо выражало надежду, смешанную со страхом.

В небе поднималась луна — это единственное, что я увидел.

— Здесь пусто,— сказал я.

— Ошибаешься. Приглядишься,— выговорил он.— Нет, еще не время. Прислушайся.

Цепenea от холода, я пытался понять, чего жду,— и слушал.

— Надо бы спуститься в сад, чтобы они нас заметили. Но если опасаясь — никто тебя не ставляет.

— Вовсе нет.— Тут я покривил душой.— Чего мне опасаться?

Подняв рюмку, я предложил:

— За эскадрилью «Лафайет»?

— Боже упаси! — всполошился Билл.— Только не сейчас. Они не должны этого слышать. *За них, Дуг. За них.*— Он протянул рюмку к небу, где боевыми расчетами плыли тучи, а диск луны превратился в белый мир, высеченный из надгробного мрамора.

— За фон Рихтгофена, за прекрасные и печальные молодые судьбы.

Я шепотом повторил его слова.

Осушив рюмки, мы подняли их кверху, чтобы это увидели тучи, и луна, и молчаливое небо.

— Не стану противиться,— сказал Билл,— если они заберут меня с собой прямо сейчас. Лучше умереть здесь, чем из ночи в ночь слышать, как приземляются парашютисты, мучиться бессонницей до рассвета, пока не осядет купол последнего парашюта, и видеть, что бутылка пуста. Остановись-ка тут, сынок. Вот так. Наполовину в тени. Хорошо.

Я отступил назад, и мы стали ждать.

— Что я им скажу? — спросил он.

— Откуда мне знать, Билл? Это ведь не мои друзья.



— Мне они тоже не были друзьями. Тем хуже. Я думал, это враги. Господи, что за идиотский, бессмысленный, проклятый мир. Враг! Разве есть такой тип? Понятно, им может оказаться хулиган, который подстерегал и лупил тебя на школьном дворе, или соперник, который отбил у тебя девушку и позлорадствовал. Но те, видные собой парни, которые взмывали к облакам летом и осенью, днем и вечером? Нет, нет!

Он продвинулся немного дальше.

— Ладно,— прошептал он,— вот он, я.

Наклонившись вперед, он широко раскинул руки, словно желая обнять ночной воздух.

— Ну же! К чему медлить?

Он закрыл глаза.

— Настал ваш черед,— кричал он.— Услышите, заклинаю, вы должны прийти. Я здесь, черти полосатые!

Словно приветствуя ночной дождь, он запрокинул голову.

— Идут? — прошептал он очень тихо, с закрытыми глазами.

— Нет.

Билл воздел морщинистое лицо к небу и начал пристально всматриваться в темноту, будто молил, чтобы тучи одумались и превратились во что-то другое.

— Дьявольщина! — вырвалось у него. — Я всех вас убил. Простите меня или убейте! — А потом завершающая вспышка: — Простите меня. Какой стыд!

Силы его голоса могло бы хватить, чтобы отбросить меня в темноту. Возможно, так и произошло. Возможно, Билл, стоя, как маленький идол, посреди моего сада, сдвинул тучи и приказал ветру дуть на юг вместо севера. Где-то очень далеко мы оба слышали неизбывный шепот.

— Есть! — воскликнул Билл и сквозь стиснутые зубы бросил в мою сторону, не размыкая век: — Слышал?

До слуха донесся другой звук, гораздо ближе, будто огромные цветы, покинув родные ветки, устремились в небо.

— Вот,— прошептал Билл.

Тучи необъятным шелковым покрывалом заботливо укутали притихшую землю. Оно тенью проплыло над городом, накрыло здания, добралось и до нас, легло на траву и заслонило свет луны, а напоследок спрятало от меня Билла.

— Так и есть! Приближаются,— кричал Билл.— Чувствуешь? Один, двое, десяток! О боже, так и есть.

Но мне только слышалось: в потревоженном воздухе с невидимых деревьев осыпаются яблоки,

и сливы, и персики, чьи-то подошвы топчут траву, а на лужайку из окон летят подушки, которые падают, как мертвые тела, в многослойном шелесте белого шелка или дыма.

— Билл!

— Не бойся,— прокричал он.— Я в порядке! Они тут повсюду. Назад! Отходи!

В саду началось какое-то смятение. Живая изгородь содрогнулась от воздушных потоков, нагнетаемых пропеллерами. Трава прижалась к земле, будто отходя ко сну. Ветер гонял по двору жестяную лейку. Птиц сдуло с деревьев. Завыли соседские псы. Где-то милях в десяти заголосила сирена, вестница другой войны. Над головой раздался грохот — не то гром, не то артиллерийский залп.

Мне было слышно, как Билл вполголоса повторяет:

— Я не знал, Господи, я не ведал, что творил. И последний замирающий звук:

— Прошу...

Тут с неба брызнули капли дождя, которые перемешались со слезами у него на щеках.

Так же внезапно ливень прекратился, ветер замер.

— Что ж... — Он утер глаза, высморкался в большой носовой платок и стал его изучать, словно карту Франции. — Пора идти. Думаешь, меня опять куда-то занесет?

— Заблудшего путника в этом доме всегда примут.

— Верю.— Он прошелся по лужайке; слезы уже высохли.— Как мне тебя отблагодарить, Зигмунд?

— Да вот так,— сказал я, обнимая его.

Он вышел на улицу. На всякий случай я последовал за ним.

Дойдя до угла, он в замешательстве остановился. Посмотрел направо, потом налево. Немного выждав, я мягко подсказал:

— Налево, Билл.

— Храни тебя Господь, везунчик,— помахал он на прощанье.

И свернул за угол.

Его нашли месяц спустя — он бродил в двух милях от дома. Потом в течение месяца лечился — теперь уже безвылазно обитая во Франции, в военном госпитале, где на койке справа от него лежал Рикенбакер, а на койке слева — фон Рихтгофен.

На другой день после похорон его вдова принесла мне фигурку «Оскара», которая поселилась у меня на каминной полке, рядом с красной розой, а кроме того, фотографию фон Рихтгофена и еще одну — всей честной компании, выстроившейся на аэродроме летом тысяча девятьсот восемнадцатого, и опять на меня налетел ветер, обру-

шился гул самолетов. А потом слышался молодой смех, готовый звучать вечно.

Иногда, проснувшись в три часа ночи, я встаю посмотреть на Билла и его друзей. И — сентиментальный идиот — киваю им, подняв рюмку хереса.

— Прощай, «Лафайет», — говорю я. — «Лафайет», прощай.

И они дружно хохочут, будто ничего забавнее в жизни не слышали.

## *Банши*

Бывает, приходится на ночь глядя выезжать из Дублина и мчаться через всю Ирландию: минуя спящие городки, ныряешь в изморось, а потом в туман, который смешивается с дождем и летит в продуваемое ветром безмолвие. Все вокруг сковано холодом и ожиданием. Такими ночами на безлюдных перекрестках случаются неожиданные встречи, а в воздухе призраками плывут нескончаемые нити паутины, хотя на сотни миль в округе не найдешь ни единого паука. Далеко за лугами нет-нет да скрипнет калитка или задрожит под неверным лунным светом оконное стекло.

В такую погоду, как говорят ирландцы, приходит банши. Я это почувствовал кожей, ясно понял, как только мое такси, проехав последнюю развилку, притормозило у входа в Кортаун-Хаус, так далеко от Дублина, что, рухни столица той но-

чью в преисподнюю, никто бы здесь и бровью не повел.

Я расплатился с таксистом и проводил глазами машину, которая взяла обратный курс на пока еще не рухнувший столичный город, оставив меня, с двадцатью переписанными заново страницами сценария в кармане, перед домом кинорежиссера, моего работодателя. В полночной тишине я вдыхал Ирландию и выдыхал сырость из отвалов души.

Потом я постучался.

Дверь почти сразу распахнулась. Возникший на пороге Джон Хэмптон сунул мне стаканчик хереса и увлек меня в дом.

— Ей-богу, дружище, ты меня заинтриговал. Скидывай пальто. Давай сюда сценарий. Успел закончить? Поверю на слово. Нет, серьезно, я сгораю от любопытства. Молодец, что позвонил из Дублина. Дома никого. Клара с детьми в Париже. Мы с тобой в охотку почитаем, доведем до ума эпизоды, приговорим бутылочку, часа в два отправимся на боковую — а там... Это еще что?

Дверь оставалась открытой. Джон шагнул вперед, склонил голову, закрыл глаза и прислушался.

Над лугами шуршал ветер. От этого казалось, будто на гигантском ложе облаков кто-то откидывает простыни.

Я тоже прислушался.

Из-за темных полей прилетел слабый-слабый стон, тихий всхлип.

Не открывая глаз, Джон прошептал:

— Известно тебе, приятель, что это такое?

— Что?

— Потом скажу. За мной!

Он захлопнул дверь, развернулся и зашагал по коридору — гордый владелец пустых владений, в домашнем халате, спортивных брюках и начищенных полуботинках; непослушные волосы выдавали в нем пловца, который стремится по волнам, а то и против течения, но с завидным постоянством ныряет в чужие постели.

В библиотеке, остановившись перед камином, он полыхнул проблеском смеха, как лучом маяка, сверкнул белозубой улыбкой и сунул мне второй стаканчик хереса в обмен на сценарий, который ему пришлось вырвать у меня из рук.

— Посмотрим, что ты родил, мой гений, мое левое полушарие, моя правая рука. Садись. Пей. Внимай.

Широко расставив ноги на каменных плитах, он грел зад, просматривал рукопись и краем глаза следил, как стремительно убывал херес у меня в стакане, и сами собой зажмуривались глаза, когда очередная страница, выпущенная из его пальцев, кружилась в воздухе, перед тем как опуститься на



ковер. Отправив в полет последний лист, Джон раскурил тонкую сигару и устался в потолок, вытягивая из меня душу.

— Сукин ты сын,— в конце концов изрек он, выпуская дым.— Здорово. Черт тебя подери, парень. Это просто здорово!

У меня внутри все оборвалось. Слишком уж неожиданно такая похвала ударила под вздох.

— Разумеется, надо слегка подсократить!

Теперь все стало на свои места.

— Разумеется,— поддакнул я.

Внаклонку, как матерый самец шимпанзе, Джон стал собирать с пола страницы. Потом он отвернулся, и я решил, что рукопись вот-вот полетит в огонь. Но он крепко сжимал сценарий в руках, глядя на языки пламени.

— Когда выкроим время,— негромко произнес он,— ты должен научить меня писать сценарии.

Теперь он сидел в кресле, мирясь с неизбежным и не скрывая восхищения.

— Когда выкроим время,— хохотнул я,— вы должны научить меня снимать кино.

— «Зверь» будет нашей общей картиной, сынок. Мы — одна команда.

Он встал и подошел ко мне чокнуться:

— Мы — самая классная команда! — Тут он сменил пластинку.— Как жена, как дети?

— Ждут меня на Сицилии, где тепло.

— Дай срок, отправим тебя к ним, на солнышко, уже недолго осталось! Мне...

Склонив голову набок, он застыл в театральной позе и прислушался.

— Эй, что там такое?..— прошептал он.

Я повернулся к дверям и выждал.

За стенами огромного старого особняка нитью протянулся едва уловимый звук, словно кто-то сколупнул ногтем краску или скользнул вниз по стволу сухого дерева. Потом до нашего слуха донесся тишайший выдох-стон, а за ним нечто, похожее на плач.

Все так же театрально Джон подался вперед, снова замер, как памятник в живой картине, разинул рот, будто готовясь заглотить эти звуки, и вытаращил глаза, которые от напускной тревоги стали размером с куриное яйцо.

— Сказать тебе, дружище, кто это был? Банши!

— Что-о-о? — вырвалось у меня.

— Банши! — с нажимом повторил он. — Это дух в обличье старухи, что выходит на дорогу, когда кому-то суждено через час умереть. Вот кто сюда пожаловал! — Он шагнул к окну, поднял штору и выглянул на улицу. — Ш-ш-ш! А вдруг она явилась *за нами*?

— Чепуха, Джон! — Я негромко посмеялся.

— Нет, приятель, не скажи. — Он неотрывно смотрел в темноту, смакуя эту мелодраму. — Как-

никак, я живу в здешних местах десять лет. Сюда пришла смерть. Банши *все чует!* Так о чем у нас был разговор?

Он запросто перешел к житейским делам, вернулся к камину и заморгал над моим сценарием, как над хитрой головоломкой.

— Ты заметил, Дуг, что «Зверь» — это вылитый я? Герой покоряет океаны, напропалую покоряет женщин — и так по всему свету, нигде не задерживаясь. Наверно, потому меня и зацепил этот сценарий. Тебе интересно знать, сколько у меня было женщин? Сотни! Ведь я...

Он умолк, снова отдавшись во власть сочиненных мною строчек. Его лицо просияло.

— Блеск!

Я робко выжидал.

— Нет, я о другом. — Отшвырнув сценарий, он схватил с каминной полки свежий номер лондонской «Таймс». — Я вот об этом! Блистательная рецензия на твой последний сборник рассказов!

— Неужели? — Меня так и подбросило.

— Спокойно, дружище. Я сам прочту тебе эту умопомрачительную рецензию. Ты будешь в восторге. Это потрясающе!

Мое сердце дало течь и затонуло. Я догадывался, что меня ждет очередной розыгрыш или — еще того хуже — замаскированная под розыгрыш правда.

— Итак, слушай!

Джон развернул газету и, как ветхозаветный Ахав, начал вещать.

— Возможно, рассказы Дугласа Роджерса стали высочайшим достижением американской литературы...— Джон выдержал паузу и невинно подмигнул.— Согласись, пока неплохо!

— Дальше,— взмолился я и забросил в себя содержимое стакана. Так бросают жребий судьбы в бездну полного краха воли.

— ...но у нас, в Лондоне,— с выражением читал Джон,— от беллетриста ожидают большего. Копируя образы Киплинга, стиль Моэма и сарказм Ивлиана Во, Роджерс барахтается в Атлантике, на полпути к нам. Его произведения лишены самобытности, это не более чем фальшивые перепевы классики. Дуглас Роджерс, плывите домой!

Я вскочил и заметался по комнате, а Джон лениво бросил газету в камин, где она затрепетала умирающей птицей и пала добычей ревуших искр и пламени.

Потеряв голову, я чуть не кинулся в огонь за этой проклятой рецензией, но с некоторым облегчением заметил, что она приказала долго жить.

Джон, не спускавший с меня глаз, был доволен. У меня пылали щеки, скрежетали зубы. Рука, приросшая к каминной полке, похолодела и сжалась в гранитный кулак.

Из глаз брызнули слезы, потому что окостеневший язык не слушался.

— В чем дело, дружок? — Джон сверлил меня взглядом, как обезьяна, в чью клетку швырнули подыхающего сородича. — С головой плохо?

— Джон, это уж слишком! — Я взорвался. — Неужели нельзя обойтись без *этого*?

Я пнул носком ботинка тлеющее полено, которое перевернулось и выпустило целый хоровод искр.

— Помилуй, Дуг, у меня и в мыслях не было...

— Так я и поверил! — Я весь кипел, уставившись на него воспаленными глазами. — У кого здесь с головой плохо?

— Да все нормально, Дуг. Рецензия была отличная, хвалебная. Я только ввернул пару строчек, чтобы тебя подколоть!

— Но теперь мне этого не узнать! — вскричал я. — Вот, смотрите!

Для верности я еще раз пнул угли.

— Завтра же купишь этот номер в Дублине. Прочтешь сам. Критики от тебя без ума, Дуг. Поверь, я просто хотел, чтобы ты не задавался. Но шутики в сторону. Главное, сынок, — ты нынче написал лучшие эпизоды для своего грандиозного сценария. — Джон приобнял меня за плечи.

В этом был он весь: сначала двинет тебя ниже пояса, а потом расточает дикий мед бочками.

— Знаешь, Дуг, в чем твоя беда? — Он сунул еще один стакан хереса в мою дрожащую руку. — Хочешь, скажу?

— Хочу, — выдохнул я, как ребенок, который забыл обиду и готов опять смеяться. — Говорите.

— Беда вот в чем, Дуг... — Джон изобразил лучезарную улыбку, глядя мне прямо в глаза, как Свенгали. — Ты ко мне относишься гораздо хуже, чем я к тебе!

— Зачем так, Джон...

— Серьезно, дружище. Поверь, я за тебя любому шею сверну. Ты — величайший из ныне живущих писателей, я тебя полюбил всем сердцем и душой. Вот я и подумал, сынок, что мне простиительно будет слегка тебя разыграть. Теперь вижу, как я ошибался...

— Нет-нет, Джон, — возразил я, ненавидя себя самого: ко всему прочему, я еще должен оправдываться! — Пустяки.

— Ты уж прости меня, дружок, прости великодушно...

— Да ладно! — хмыкнул я. — Несмотря ни на что, я к вам очень тепло отношусь. Мне...

— Ну, уважил! Итак... — резко повернувшись, Джон потер ладони и начал тасовать страницы, как завзятый шулер, — в течение ближайшего часа будем кромсать твой прекрасный, гениальный сценарий, а потом...

В третий раз с момента нашей встречи он переключил тон и настрой разговора.

— Тихо! — воскликнул Джон. Сощурившись, он закачался посреди комнаты, как утопленник под водой. — Дуг, ты слышал?

Дом задрожал от ветра. Длинный ноготь царапнул раму мансардного окна. Луну окутал скорбный шепот облаков.

— Банши, да не одна, — кивком указал Джон и застыл в ожидании. Потом он резко вскинул голову:

— Дуг! Сгоняй на разведку.

— Еще чего!

— Давай-давай, одна нога здесь, другая там, — настаивал Джон. — А то у нас сегодня какая-то ночь ошибок. Ты ошибаешься во *мне*, ошибаешься и в *этом*. Набросишь мое пальто. За мной!

В прихожей он распахнул стенной шкаф и выдернул необъятных размеров твидовое пальто, пропахшее сигарами и дорогим виски. Растянув его в обезьяньих руках, он стал водить им передо мной, как тореадор — мулетой.

— Эй, *торо! Торо!*

— Джон, — вырвалось у меня тяжелым вздохом.

— Никак у тебя поджилки трясутся, Дуг? Струсил? Да ты...

Уже в четвертый раз мы оба слышали в зимней ночи стон, возглас, удаляющийся шепот.

— Тебя ждут, друг мой! — торжественно провозгласил Джон. — Выходи. Побежишь за нашу *команду!*

Чужое пальто дохнуло угаром табака и выпивки, а Джон с царственным достоинством застегнул на мне пуговицы, взял за уши и поцеловал в лоб.

— Буду за тебя болеть на трибуне, парень. Побежал бы с тобой, но опасаюсь смутить банши. Удачи, сынок, а если не вернешься... я тебя любил как родного!

— Сколько можно! — Я распахнул дверь.

Но Джон внезапно вклинился между мною и холодным лунным ветром.

— Нет, не ходи, дружок. Я передумал! Если тебя прикончат...

— Джон, — я вырвался из его рук, — это ведь была не моя затея. Думаю, вы подговорили Келли, которая ухаживает за лошадьми, чтобы она завыла среди ночи вам на потеху...

— Дуг! — вскинулся он, по своему обыкновению, то ли в притворном, то ли в искреннем негодовании, хватая меня за плечи. — Богом клянусь!

— Счастливо оставаться, Джон. — Во мне боролись злость и любопытство.

Выскочив за порог, я тут же об этом пожалел. У меня за спиной хлопнула дверь, звякнула защел-



ка. Неужели он надо мной посмеялся? Через несколько мгновений его силуэт возник в окне библиотеки: держа в руке стакан хереса, за ночным представлением наблюдал сам режиссер, он же восторженный зритель.

Чертыхнувшись себе под нос, я отвернулся, втянул голову в плечи, плотно запахнул пальто, как Цезарь — свой плащ, и зашагал по гравию навстречу ветру, который разом вонзил в меня два десятка клинков.

Минут десять здесь поболтаюсь, думал я, пощекочу ему нервы, чтобы этот розыгрыш обернулся против него, а потом разорву рубашку, расцарапаю грудь и приковыляю обратно, сочинив какую-нибудь жуть. Да, точно, если он рассчитывал, что...

Я остановился.

Потому что в ложбине мне привиделся воздушный змей, который бумажным цветком расцвел посреди рощи и уплыл за живую изгородь.

Луна, почти полная, пряталась за облаками, посылая мне островки темноты.

В отдалении что-то снова мелькнуло гроздью белых цветов, готовых опуститься на бесцветную дорожку. И в тот же миг послышался едва уловимый плач, тишайший стон, как скрип дверцы.

Вздвогнув, я отпрянул назад и оглянулся в сторону дома.

Конечно, физиономия Джона, будто вырезанная из тыквы, маячила в окне и с ухмылкой потягивала херес, окруженная теплым, как поджаренный хлеб, уютом.

— О-о-ох... — простонал чей-то голос. — Боже... Тут-то я и увидел эту девушку.

Она стояла, прислонившись к дереву, в длинном облачении лунного цвета; ее тяжелая, доходившая до бедер шерстяная шаль жила отдельной жизнью: волновалась, трепетала, махала крылом ветру.

Судя по всему, девушка не заметила моего присутствия, а если и заметила, ей было все равно; она меня не боялась, в этом мире она уже ничего не боялась. О том поведал ее прямой, немигающий взгляд, устремленный в сторону дома, к мужскому силуэту в окне библиотеки.

Снежное лицо казалось высеченным из холодного белого мрамора, как у родовитых ирландских женщин: лебединая шея, сочные, хотя и беспокойные губы, лучистые нежно-зеленые глаза. От того, как прекрасны были ее глаза, как хорош был этот профиль за покровом дрожащих ветвей, у меня в душе что-то перевернулось, сжалось от боли и умерло. На меня нахлынула убийственная тоска, какая охватывает мужчин при виде мимолетней красоты, которая вот-вот исчезнет. В такой миг хочется крикнуть: постой, я люблю тебя. Но

язык не поворачивается это произнести. И лето уходит в ее образе, чтобы никогда больше не вернуться.

И вот теперь эта красавица, которая не сводила глаз с заветного окна в далеком доме, заговорила сама:

— Он там?

— Что? — поперхнулся я.

— Ведь это он? — переспросила она и пояснила с холодной яростью: — Зверь. Монстр. Тот самый.

— По-моему...

— Огьявленный хищник,— продолжала она.— Двухногий. Он вечен. Другие приходят и уходят. А он вытирает руки о живую плоть. Девушки для него — салфетки, а женщины — ночные закуски. Он хранит их в винном погребе и различает не по именам, а по годам. Силы небесные, неужели это он?

Проследив за ее взглядом, я увидел все ту же тень в далеком окне, за лужайкой для игры в крокет.

И представил своего режиссера в Париже, в Риме, в Нью-Йорке, в Голливуде, и увидел реки женщин, по которым, как зловещий Иисус по теплому морю, Джон прошелся подошвами. Сонмы женщин танцевали на столах, мечтая снискать его похвалу, а он, помедлив у выхода, бросал: «До-

рогуша, одолжи пятерку. Там стоит нищий — просто сердце разрывается...»

Теперь, глядя на эту девушку, чьи темные волосы перебирал ночной ветер, я спросил:

— И все-таки, кто он такой?

— Все тот же, — отвечала она. — Тот, кто живет в этом доме, кто прежде меня любил, а теперь не помнит. — Из-под опущенных век брызнули слезы.

— Он здесь больше не живет, — сказал я.

— Неправда! — Она резко повернулась ко мне, словно для удара или плевка. — Зачем ты лжешь?

— Пойми. — Я вглядывался в свежий, но померкший снег ее лица. — То было другое время.

— Нет, время бывает только *настоящим*! — Мне показалось, она сейчас бросится к дому. — И я по-прежнему его люблю — так сильно, что любому сверну за него шею, пусть даже за это поплачусь!

— Назови его имя. — Я преградил ей путь. — Как его зовут?

— Уилл, как же еще? Уилли. Уильям.

Она сделала шаг. Я поднял руки и покачал головой:

— Нет, здесь живет Джонни. Джон.

— Ложь! Я его чую. Имя другое, но это он. Смотри сюда! Ты тоже почувешь!

Она подставила ладони ветру, летящему в сторону дома, я повернулся и ощутил то же самое: межвременье, другой год. Об этом шептали поры-

вы ветра, и ночь, и слабый свет в окне, где маячила тень.

— Это он и есть!

— Он мне друг, — осторожно сказал я.

— Такой никому и никогда не будет другом!

Я попытался взглянуть на этот дом ее глазами и подумал: господи, неужели так повелось на все времена, неужели здесь испокон веков живет некий человек — жил здесь и сорок, и восемьдесят, и сто лет назад! Нет, не один и тот же, а зловещий строй двойников, и на дорогу всегда выходила эта растерянная девушка, у которой вместо любви — снег на тонких руках, вместо утешения — лед в сердце; ей только и остается, что шептать, стонать, сетовать и плакать до самого рассвета, а когда взойдет луна, начинать все сначала.

— Здесь живет мой друг, — повторил я.

— Если это правда, — яростно прошептала она, — тогда ты мне враг!

Я смотрел, как ветер уносит с дороги пыль в сторону погоста.

— Уходи, откуда пришла, — сказал я.

Она увидела ту же дорогу, ту же пыль, и голос ее сник.

— Значит, покоя не будет? — простонала она. — Неужели мне суждено вечно скитаться в этих краях, год за годом?

— Если бы это и впрямь был твой Уилли, твой Уильям,— отважился я,— мог бы я тебе хоть чем-нибудь помочь?

— Прислать его сюда,— вполголоса ответила она.

— Зачем он тебе?

— Чтобы лечь с ним рядом,— прошептала она,— и больше не подниматься. Чтобы он остался холодным камнем в холодной реке.

— Вот как.— Я кивнул.

— Так что же, пришьлешь его ко мне?

— Нет. Он не тот, кто тебе нужен. Хотя и похож. Почти один к одному. И тоже ест на завтрак девушек, и утирает губы их шелками, и зовут его в разные века по-разному.

— Ему тоже неведома любовь?

— Это слово он забрасывает вместо удочки,— сказал я.

— Выходит, я попалась на крючок! — У нее вырвался такой стон, что тень в доме за лужайкой прильнула к окну.— Буду стоять тут всю ночь,— выговорила она.— Он, конечно, почувствует, что я здесь, и отгадет — не важно, как его зовут и сколько зла у него в душе. Какой сейчас год? Сколько лет прошло в ожидании?

— Не скажу,— ответил я.— Если узнаешь, это станет для тебя ударом.

Повернув голову, она впервые посмотрела на меня в упор.

— Вот ты каков — добрый вроде? Из совестливых, которые не обманут, не обидят, не сбегут? Где же ты был раньше, скажи на милость?

Завывания ветра эхом отозвались у нее в груди. Где-то далеко, в спящем городке, пробили часы.

— Мне пора. — Я собрался с духом. — Как же все-таки помочь тебе обрести покой?

— Тебе это не под силу, — ответила она, — ибо не ты нанес рану.

— Понял.

— Ничего ты не понял. Но хотя бы попытался понять. И на том спасибо. Иди в дом. Не то подхватишь смерть.

— А ты?..

— Что я? — усмехнулась она. — Я свою подхватила давным-давно. А двум смертям не бывать. Ступай!

Упрашивать меня не пришлось. Мне с лихвой хватило ночного холода, бледной луны, межвременья — и этой незнакомки. Ветер подгонял меня вверх по травянистому склону. У дверей я обернулся. Подняв руку, она все еще стояла на млечной дороге, и тяжелая шаль трепетала на ветру.

— Не мешкай, — послышалось мне, — передай, что его ждут!

Я плечом вышиб замок, влетел в дом и промчался по коридору, мелькнув бледной молнией в огромном зеркале. Сердце отбивало дробь.

В библиотеке Джон приканчивал очередную порцию спиртного; он плеснул из бутылки в мой стакан.

— Когда ты только научишься не принимать мои слова за чистую монету? — сказал он. — Боже, на тебе лица нет! Совсем окоченел. Давай-ка выпьем. А потом повторим.

Я выпил, он налил еще, я снова выпил.

— Значит, это была шутка?

— А что же еще? — Джон захохотал, но вдруг осекся.

За стенами особняка опять слышался стон, ноготь исподволь шелушил краску, луна скользила по черепице.

— Сюда пришла банши. — Я смотрел в стакан, не в силах сдвинуться с места.

— Конечно, дружок, конечно пришла, — приговаривал Джон. — Ты выпей, Дуг, а я еще раз прочту тебе рецензию из «Таймс».

— Она же сгорела.

— И то верно, дружок, но я знаю текст как свои пять пальцев. Ты пей, пей.

— Джон. — Я уставился в огонь, туда, где шевелился пепел сгоревшей газеты. — А эта... рецензия... она точно была напечатана?



— А как же, совершенно точно, да-да. Если уж совсем честно...— Для пущей выразительности он сделал паузу.— В редакции «Таймс» знают, как я тебя люблю, поэтому рецензию на твой сборник заказали мне.— Протянув свою длинную руку, Джон подлил мне спиртного.— Я и написал. Разумеется, под псевдонимом — иначе меня бы не уломали. Но я не имел права лукавить, Дуг, просто не имел права. Отметил и самые блестящие места, и менее удачные. Кое-что разнес в пух и прах, как всегда поступаю, если ты приносишь никудышный эпизод, требующий переделки. Словом, поступил по справедливости, не подкопаешься. Ты согласен?

Он нагнулся, взял меня за подбородок и заставил поднять голову, чтобы долгим, проникновенным взглядом заглянуть мне в глаза.

— Да ты никак обиделся?

— Нет,— сказал я дрогнувшим голосом.

— Ну и ладно. Ты уж извини. Это розыгрыш, дружок, примитивный розыгрыш.— Он по-приятельски ткнул меня в плечо.

Тычок вышел совсем легким, но показался мне ударом кувалдой, потому что я был на взводе.

— Лучше бы его не было, этого розыгрыша. Лучше бы в газете была настоящая рецензия.

— Не спорю, дружок. На тебе лица нет. Меня...

Вокруг дома облетел ветер. Оконные стекла звякнули и зашептались.

Без всякой видимой причины у меня вырвалось:

— Банши. Это она.

— Да пошутил я, Дуг. Со мной держи ухо остро.

— Как бы то ни было,— сказал я, глядя в окно,— она там.

Джон рассмеялся:

— Ты, похоже, ее видел, а?

— Это юная, прекрасная девушка, которая от холода кутается в шаль. У нее длинные черные волосы и огромные зеленые глаза, лицо — как снег, точеный финикийский профиль. Вам такие встречались, Джон?

— Пачками,— захохотал Джон, но уже не так громогласно, остерегаясь подвоха.— Черт побери...

— Она ждет,— сказал я.— У главной дороги.

Джон неуверенно поглядел в окно.

— Это был ее голос,— продолжал я.— Она описала вас или кого-то очень похожего. Только имя назвала чужое — Уилли, Уилл, Уильям. Впрочем, я и так понял, что это другой человек.

Джон задумался:

— Юная, говоришь, да еще красивая, и совсем близко?..

— Красивее не встречал.

— С ножом?..

— Безоружная.

— Ну что ж,— выдохнул Джон,— думаю, имеет смысл выйти, перекинуться с ней парой слов, как ты считаешь?

— Она ждет.

Он двинулся к выходу.

— Надо одеться, там холодно,— сказал я.

Когда он натягивал пальто, мы опять услышали снаружи эти звуки — совершенно отчетливые. Стон, рыдание, стон.

— Подумать только.— Джон уже взялся за ручку двери, чтобы я не заподозрил его в малодушии.— Она и вправду совсем близко.

Он заставил себя повернуть ручку и распахнул дверь. Ветер со вздохом влетел в дом, принес с собою еще один слабый стон.

Стоя на границе холода, Джон вглядывался в темноту, где исчезала садовая дорожка.

— Стойте! — закричал я в последний момент. Джон остановился.

— Я недоговорил. Она действительно рядом. И ходит по земле. Но... она мертва.

— Мне не страшно,— отозвался Джон.

— Верю,— сказал я,— зато мне страшно. Оттуда возврата нет. Пусть во мне сейчас клокочет ненависть, но я вас никуда не отпущу. Надо закрыть дверь.

Опять этот стон, потом плач.

— Надо закрыть дверь.

Я попытался оторвать его пальцы от медной шишки, но он вцепился в нее что есть мочи, наклонил голову и со вздохом повернулся ко мне:

— А у тебя неплохо получается, парень. Почти как у меня. В следующем фильме дам тебе роль. Будешь звездой.

С этими словами он сделал шаг в холодную ночь и бесшумно затворил дверь.

Когда под его подошвами скрипнул гравий, я задвинул щеколду и торопливо прошелся по дому, выключая свет. Стоило мне войти в библиотеку, как в трубе заныл ветер, который спустился по дымоходу и перевероршил в камине темный пепел лондонской «Таймс».

Я зажмурился и надолго прирос к месту, но потом встрепенулся, взбежал по лестнице, перематывая через две ступеньки, хлопнул дверью мансарды, разделся, нырнул с головой под одеяло и услышал, как городские куранты пробили в ночи один раз.

А отведенная мне спальня затерялась высоко, под самым небом: если бы хоть одна живая — или неживая — душа вздумала скрестись, стучать, барабанить в парадную дверь, шептать, молить, кричать...

Кто бы это услышал?

## *Обещания, обещания*

Распахнув дверь, она сразу заметила, что он плакал. Слезы еще не высохли, и он их не вытирал.

— Боже мой, Том, что случилось? Входи!

Она потащила его за рукав. Можно было подумать, он этого даже не почувствовал, но потом наконец решился шагнуть через порог. Он оглядывал квартиру — и не узнавал, будто видел новую мебель и перекрашенные стены.

— Извини, что беспокою, — сказал он.

— Да ну тебя, в самом деле. — Она провела его в гостиную. — Присядь. Ты ужасно выглядишь. Давай я принесу тебе чего-нибудь выпить.

— Да, пожалуй, присяду, я с ног валюсь, — рассеянно сказал он. — Выпить... Не помню, ел ли я сегодня. Не знаю.

Она принесла бренди, налила ему небольшую порцию, взглянула на него и налила еще.

— Успокойся. Все пройдет.— Она проследила, как он залпом осушил стакан.— Из-за чего ты так распереживался?

— Из-за Бет,— с трудом сказал он. Глаза его были закрыты, по щекам бежали слезы.— И еще из-за тебя.

— К черту меня, что с Бет?

— Она упала и ударилась головой. Двое суток пролежала без сознания.

— Какой ужас...— Опустившись на пол, она обхватила его за колени, словно оберегая от падения.— Что же ты не...

— Я пыгался, но мы были в больнице вместе с Кларой, а когда удавалось тебе позвонить, ты не брала трубку. Все остальное время Клара была рядом, и если бы она услышала наш с тобой разговор — боже... достаточно того, что моя дочка могла... в любой момент... ну ладно, это нелегко было пережить, но теперь я здесь.

— Господи, неудивительно, что у тебя такой жуткий вид. Бет, так... Она?.. Она не?..

— Нет, она не умерла. Слава богу, ох, слава богу!

Теперь он не сдерживал рыданий и только сжимал в руке пустой стакан. Слезы капали на лацканы пиджака, но он этого не замечал.

Откинувшись назад, она тоже зарыдала, крепко стиснув его пальцы.

— Господи Иисусе,— тихо повторяла она,— Господи Иисусе.

— Знала бы ты, сколько раз я произносил это заклинание в минувшие выходные. Я никогда не был чересчур набожным, но тут... меня как ударило: нужно хоть что-то говорить, делать, молиться — что угодно. Ни разу в жизни столько не плакал. И ни разу так истово не молился.

Ему пришлось прерваться, потому что его душили рыдания. Успокоившись, он собрался с мыслями и продолжил шепотом:

— Она жива, самое страшное позади, пришла в сознание два часа назад. Доктор уверен, она выздоровеет. Он так и сказал. Если бы мне сейчас предъявили счет на миллион долларов, я бы жизнь положил, чтобы его оплатить. Ради дочки — она этого достойна.

— Конечно достойна. Дочери для своих отцов — всегда самые лучшие, ну, уж большинство — наверняка.

Он откинулся на спинку стула, а она осталась сидеть у его ног, дожидаясь, пока он задышит ровнее. Наконец она спросила:

— Как это произошло?

— Да как это всегда бывает, по глупости. Залезла на шаткую стремянку, чтобы найти в шкафу какие-то рождественские украшения. Эта чертова

штуковина подломилась, Бет упала и ударилась головой, причем очень сильно. Мы ничего не слышали — сидели в другом конце дома. У нас в семье уважают ее право на уединение. Но через час, когда дверь в детскую так и осталась закрытой, причем из-за нее не доносилось ни звука, моя жена под каким-то предлогом решила туда зайти. И вдруг, как гром среди ясного неба, истошно закричала. Я прибежал: Бет лежит на полу, в луже крови — ударилась головой об угол книжного шкафа. Я еле устоял на ногах, когда к ней подошел. Попытался ее поднять, но внезапно почувствовал такую слабость, что не смог пошевелиться. Боже мой, она лежала пластом, без признаков жизни, ну совсем как мертвая. Мне никак не удавалось нащупать у нее пульс, потому что у меня самого сердце колотилось как бешеное. Кое-как добрался до телефона, но пальцы не слушались. Клара оттолкнула меня, чтобы вызвать «скорую». Как только она дозвонилась, я выхватил у нее трубку, но не мог произнести ни звука, пришлось Кларе давать все объяснения — боже, от меня, можно сказать, зависела жизнь Бет! Я был невменяем. А если бы я был один? Смог бы я сказать хоть слово? Она была на волосок от гибели. Если бы не Клара... короче говоря, врачи приехали, слава богу, через пять минут, а не через полчаса. Бет забрали в больницу.



Я сопровождал ее в карете «скорой помощи» и тоже смахивал на покойника. Клара поехала следом на машине. В больнице нас целый час не пускали к дочке, врачи боролись за ее жизнь. Выйдя к нам, доктор сказал, что состояние очень тяжелое, шансы пятьдесят на пятьдесят, все решится в течение двух суток. Только представь... оставаться в неведении двое суток. Мы сидели в больнице до двух часов ночи, пока нас силой не заставили уйти домой; обещали позвонить, если будут какие-то изменения. Мы проплакали всю ночь. Если и успокаивались, то минут на десять, не больше. Ты когда-нибудь плакала целую ночь напролет, ты когда-нибудь хотела умереть от нахлынувшего горя? Боже, как мы избалованы благополучием. Это был первый *настоящий* кошмар в жизни нашей семьи. У нас все всегда было хорошо, никто не болел, не попадал в аварию, не умирал. Выслушай меня! Я не могу остановиться. Как же я устал... вот, пришел повидаться с тобой, Лора.

— Но опасность действительно миновала? Это правда? — спросила Лора.

— По словам доктора, выздоровление наступит дня через три.

— Дай-ка я тебе еще налью.— Наполнив его стакан, она смотрела, как он судорожно глотает спиртное. У нее навернулись слезы.— Я видела

твою дочь только раз, но она... она такая славная девочка. Неудивительно, что ты...

— Неудивительно.— Он закрыл глаза, потом открыл их, чтобы в последний раз взглянуть на свою возлюбленную, и собрался с духом, как перед прыжком в пропасть.— Положа руку на сердце — знаешь, что ее спасло?

— «Скорая»...

— Нет.

— Твой доктор...

— Ну, это все тоже. Но главное — мы молились. Мы *молились*, Лора. И Бог нам ответил. Какая-то сила нам ответила. Это случилось наяву. Я никогда не верил, что молитва способна что-то изменить. Но теперь верю.

Он напряженно вглядывался в ее лицо. В конце концов ей пришлось отвести глаза, чтобы не содрогнуться. Сцепив пальцы, она теперь неотрывно смотрела только на них. Внезапно ее лицо побледнело, будто от внезапной догадки, но ей удалось совладать с чувствами. Наконец она глубоко вздохнула, бросила на него быстрый взгляд и спросила:

— И о чем же?

— Что-что? — не понял он.

— О чем была твоя молитва?

— Это,— ответил он,— нельзя даже назвать молитвой: это, скорее, было обещанием.

Лора побледнела еще больше, выдержала паузу, и, набрав побольше воздуха, спросила:

— Что же ты обещал?

Он не сумел ответить. Как в тот раз, когда ему не удалось вызвать «скорую», на него напало оцепенение.

— Ну,— поторопила Лора.

— Я пообещал Богу...

— Да?

— Если он спасет жизнь Бет...

— Да?

— Я расстанусь с тобой, уйду и больше никогда тебя не увижу!

Эти слова он произнес как-то невнятно, со вздохом.

— Что? — Она выпрямилась, отшатнулась и устремила на него подозрительный взгляд как на умалишенного.

— Ты слышала,— тихо ответил он.

Она почти судорожно наклонилась вперед и выкрикнула:

— Как у тебя повернулся язык *такое* пообещать Богу?

— Так получилось... это единственное, что мне пришло в голову.— Соскользнув со стула, он начал медленно двигаться в ее сторону, чтобы оказаться рядом.— Я был как безумный, разве ты не понимаешь? Как безумный!

Она резко отодвинулась назад, чтобы увеличить пространство между ними, а он все приближался. Она повернулась к окну, к двери, будто в поисках выхода, а потом напредила, почти не понижая голоса:

— Ты ведь знаешь, теперь я католичка...

— Знаю, знаю.

— Новообращенная. Ты понимаешь, в какое положение ты меня *поставил*?

— Я не нарочно, это жизнь, несчастный случай с моей дочерью. Мне пришлось дать такое обещание, чтобы ее спасти! Да что на тебя накатило?

— Я люблю тебя, вот что на меня накатило!

Она вскочила, заметалась по комнате, потом обхватила себя за локти и склонилась над ним:

— Неужели ты не понимаешь, нельзя походя давать Богу такие обещания! Глупец, ты же не можешь взять их обратно!

— Я и не хочу брать их обратно.— Оглушенный, он смотрел на нее снизу вверх.— Ты... ты меня не *заставишь*!

— Том, Том,— зачастила она,— я глубоко верующий человек. Представь хоть на секунду, чтобы я потребовала от тебя такого отступничества! Об этом и речи нет! Обещание есть обещание, его придется выполнять, но тогда я уйду из твоей жизни. А если ты его нарушишь, я не смогу тебя лю-

бить, ведь ты окажешься лжецом, лжецом по отношению к моему Богу и моей новообретенной вере. Какой ужас, худшего не придумаешь!

Все так же сидя на полу, он отклонился назад и провел ладонью по лицу.

— Ты считаешь?..

— Нет, нет. Что ни говори, это был несчастный случай, и она твоя дочь. Но ты бы мог сначала все обдумать, хорошенько поразмыслить и осторожно выбрать слова!

— Какая может быть осторожность, если падаешь с крыши небоскреба, не видя спасательной сетки?

Она стояла над ним, сгорбившись, будто он прострелил ей грудь. Ей казалось, это она все время падала вниз. Если где-то и натянули сетку, то лишь для него одного. Ударившись о землю и обнаружив, что не умерла, она выдавила с дрожью в голосе:

— О Том, Том, ты...

— У меня сердце разрывается из-за вас обеих, — с трудом произнес он, — из-за дочери, которая чудом осталась жива. И в то же время из-за тебя, которая для меня почти умерла. Я *пытался* сделать выбор. На какой-то безумный миг мне показалось, что выбор *есть*. Но я знал, что Бог распознает лю-

бую ложь, на какую я только способен. Нельзя просто так пообещать и помолиться, а потом забыть обо всем, как только твоя дочь откроет глазки и улыбнется. Сейчас меня переполняет чувство благодарности. Мне ужасно грустно из-за нас с тобой, вряд ли я быстро смогу успокоиться, а моя жена будет думать: это он от радости, что Бет возвращается домой.

— Замолчи,— тихо сказала Лора.

— Почему?

— Потому. Чем больше ты говоришь, тем меньше я могу сказать в ответ. Хватит загонять меня в угол. Хватит убивать меня вместо нее. Хватит.

Он умолк, все больше мрачнея; Лора отвернулась и, ничего не видя, пошла искать себе стакан. Прошло немало времени, прежде чем она сумела его наполнить, и еще больше — прежде чем вспомнила о его содержимом. Уставившись в стену, она спросила:

— Что ты говорил в своей молитве?

— Уже не помню.

— Неправда, помнишь. Силы небесные, Том, что же такого необратимого ты сказал?

Он покраснел и отвел взгляд сначала в одну сторону, потом в другую, не смея посмотреть ей в глаза.

— Если ты имеешь в виду конкретные слова...

— Конкретные слова. Хочу их услышать. Я требую. Я это заслужила. Говори.

— Господи,— он с трудом перевел дыхание,— помню, когда мне было пять лет, мама заставляла меня молиться. Я этого терпеть не мог. Мне было тошно, я нигде не видел Бога, не понимал, с кем должен разговаривать. Это было так ужасно, что мама вскоре отчаялась. Через много лет я сам научился молиться, но по-своему, молча. Ладно, ладно, не смотри на меня так. Вот что я сказал...

Он резко встал, подошел к окну и окинул взглядом город в поисках какого-нибудь здания, не важно какого, лишь бы похожего на больницу, чтобы полностью сосредоточиться на нем. Его слова были едва различимы. Он понял это, остановился и начал заново, иначе она бы его просто не расслышала.

— Я сказал: Боже милосердный, спаси ее, спаси мою дочурку, даруй ей жизнь. Если ты это сделаешь, я обещаю, клянусь, что откажусь от самого дорогого существа в моей жизни. Я обещаю порвать с Лорой и никогда больше с нею не видеться. Обещаю, Господи, клянусь.

После долгой паузы он вполголоса повторил последнее слово: «Клянусь».

Она, как сомнамбула, поднесла стакан к губам и залпом выпила бренди. Закрыв глаза, тряхнула головой.

— Вот теперь все ясно,— сказала она.

Он направился было в ее сторону, но остановился.

— Ты веришь мне?

— Хотела бы не верить, но верю. К черту все!

Она с силой бросила свой стакан и проследила взглядом, как он покатился по ковру, целый и невредимый.

— Ты мог бы пообещать что-нибудь *другое!* Разве нет, разве нет, *нет?*

— Что — другое? — Не зная, куда деваться, он метался по комнате, не решаясь поднять на нее взгляд.— Что можно пообещать Богу, чтобы это действительно что-то значило? Деньги? Дом? Машину? Отказаться от поездки в Париж? От своей работы? Ему известно, что мне все это дорого. Но я не думаю, что Богу нужны такие жертвы. На свете есть только одна ценность, верно? Для *Него*. Не вещи, не люди, но... любовь. Я долго ломал голову и понял, что в моей жизни есть только одно настоящее сокровище, поистине бесценное, которое можно предложить взамен.

— И это сокровище — я? — спросила она.



— Да, черт возьми. Придумай что-нибудь еще. Я не могу выдумать ничего другого. Ты. Моя любовь к тебе была такой огромной, такой всеобъемлющей, такой необходимой частью моей жизни, что я понял: это будет равноценный обмен, оправданная просьба. И если я пообещаю расстаться с тобой, Богу *придется* признать, каким это будет для меня ударом, какой невыносимой потерей. Тогда он просто *обязан* будет вернуть мне дочь! Иного и быть не может!

Он остановился посреди комнаты. Она повертела в руках поднятый с пола стакан. Медленными шагами прошлась вокруг Тома.

— Теперь я услышала и увидела достаточно, — сказала она.

— Услышала и увидела *что*?

— Мужчины, так или иначе, избавляются от своих любовниц.

— Неужели ты все это так истолковала?

— А как это еще можно истолковать? Ты уже давно хотел со мной порвать. Вот теперь у тебя появилась отговорка.

— Отговорка? Нет. Обязательство. Что еще, по-твоему, мне оставалось сделать?

— Ну уж, во всяком случае, не обещать Богу бросить меня! — кричала она. — Почему *меня*?

— Разве ты не знаешь? Разве ты не слушала? Ты была для меня единственной ценностью, сравнимой по значимости с моей дочерью. Я любил тебя, люблю и всегда буду любить. А сейчас, хотя я знаю, что буду страдать долгие годы, я должен тебя отпустить. Кому больнее: мне или тебе? Что труднее: тебе — быть покинутой или мне — от тебя отказаться? Можешь ли ты точно, беспристрастно это взвесить и сказать мне?

— Нет, не могу. — Она снова ссутулилась. — Со мной будет все в порядке. Извини. Просто должно пройти время. Ты ведь явился всего десять минут назад. Подумать только.

Она отвернулась и медленно пошла из комнаты в кухню. Ему было слышно, как она гремит чем-то в холодильнике. Опустившись в кресло, он вцепился в подлокотники, словно боялся, как бы оно ненароком его не подбросило и не швырнуло через всю комнату.

Возвратилась она с бутылкой шампанского и двумя бокалами, ступая по полу, как по минному полю.

— Что это? — спросил он, когда она устроилась на полу.

— А как тебе кажется? — Привычным жестом она направила пробку в потолок и добавила: — Мы

в свое время... с этого начали, почему бы этим не закончить?

— Ты сердишься...

— Сержусь? Это мягко сказано. Я просто в бешенстве. Мне так тошно, что хочется лечь в постель и больше не подниматься, но черт побери, уже завтра я встану. Надеюсь, хоть шампанское поможет, будь оно проклято. Возьми бокал.

Она разлила шампанское, они выпили и долго молчали.

— Стало быть, мы видимся в последний раз,— сказала она.

— Ну, зачем же...

— А разве не так? Ты уже все решил. К чему играть в глупые игры? Это наши последние пять минут. Допьешь — и уходи. Мне невыносимо, когда ты здесь находишься. Нет, я не хочу, чтобы ты уходил. Как жаль, что у меня нет молитвы, нет обещания, такого же сильного, как твое, чтобы в него верить. Я бы обратилась с ним к Богу. Но у меня нет такой силы, и никто, кроме тебя, ради меня не умрет, да и ты умрешь не по-настоящему, ты просто уйдешь. Поэтому не звони, не пиши, не возвращайся, не приходи. Знаю, знаю, что у тебя на уме... уйти — и остаться. Но тогда может возникнуть соблазн. И если ты позвонишь,

мне придется выстрадать все заново. Скажешь, это низко, жестоко? Нет. По-другому я не могу. А потому...— Она допила шампанское, поднялась с ковра, открыла дверь и стала у порога.

— Уже пора? — мрачно спросил он.

— Даже не верится, пять лет прошло. Но теперь — *пора*.

Он встал с кресла, осмотрелся, как будто оставил здесь то, что принадлежало только ему, и не сразу понял, что оставил ее. Стоя перед ней, он бессильно опустил руки. Казалось, он не знает, куда себя девать.

— Ты прощаешь меня?

— Пока нет. Но скоро прощу, иначе нельзя. Нужно либо простить, либо перестать ходить в церковь. Дай мне время поразмыслить о твоей дочери, о том, как она едва не умерла, — и я прощу. Пережить бы эту неделю. Сдается мне, ты разрываешься надвое. Прощай! — И одними губами договорила: «*Мой дорогой*».

Она накрыла ему рот долгим поцелуем, но как только почувствовала нежность, оттолкнула его и сделала шаг в сторону.

Он вышел за дверь и замедлил шаги только на середине лестничного марша:

— Прощай.— Отвернувшись, он продолжил путь.

У нее брызнули слезы. Ухватившись за перила, она невидящими глазами смотрела вниз.

— Как ты смеешь! — крикнула она и осеклась.

Вглядевшись в пустой пролет, перевела дыхание. Слова вырывались помимо ее воли:

— ...любить свою дочь...

А потом, словно со стороны, различила остальное:

— ...сильнее, чем *меня?*

Двигаясь ощупью, она побрела к себе, переступила через порог и захлопнула дверь, *изо всех сил*.

Он уже был внизу, но расслышал этот стук.

Будто захлопнулась крышка гроба.

## *Любовная история*

В прозрачном воздухе все утро веяло не то свежими злаками, не то зеленой травой, не то цветами — Сию никак не мог определить, не мог распознать этот запах. Выбравшись из укромной пещеры, он решил обойти кругом, спуститься по склону, а уж там поднять свою крупную голову и как следует приглядеться, но сейчас его неотвязно преследовал легкий ветер, который и принес сюда сладковатое дыхание того аромата. Как будто среди осени наступила весна. Он проверил, нет ли поблизости темных цветков, которые по весне пробивались пучками из-под острых камней. Стал высматривать, не проклюнулась ли случайно зелень — с приходом весны трава быстротечной волной набегала на Марс, — но нет, скалистая местность оставалась засушливой, кроваво-красной.

Нахмурясь, Сио вернулся в пещеру. Он смотрел в небо и видел, как вдали, над окраинами растущих городов, идут на посадку окутанные пламенем ракеты землян. Под покровом темноты Сио иногда сплавлялся на челноке по молчаливой гладди каналов, потом оставлял челнок в тайном месте, а сам плыл, стараясь не поднимать брызги, к предместьям молодых городов и там глядел, как люди, без умолку перекликавшиеся между собой, до поздней ночи что-то мастерили, приколачивали, красили, чтобы возвести на его планете свои странные сооружения. Он вслушивался в их диковинные речи, пытаясь хоть что-нибудь разобрать, и не переставал изумляться, когда огненно-хвостатые ракеты землян — непостижимые все-таки существа! — с ревом взмывали к звездам. А потом, целый, невредимый и одинокий, Сио возвращался к себе в пещеру.

Ему случалось отмерять многие мили по горным склонам, чтобы перекинуться парой слов хоть с кем-нибудь из соплеменников, которые теперь вели скрытный образ жизни: мужчин осталось совсем мало, женщин и того меньше; впрочем, он уже привык к одиночеству и обитал вдали от всех, размышляя над плачевной судьбой, постигшей его народ. Землян он не винил: они не по злому умыслу занесли сюда болезнь, которая в одночасье со-

жгла его отца и мать, а вместе с ними великое множество других отцов и матерей.

Ноздри еще раз втянули воздух. Опять этот неведомый аромат. Сладковатый, летучий, вобравший в себя запахи цветов и зеленого мха.

— Что ж это такое? — Прищулив золотистые глаза, Сиио посмотрел во все стороны разом.

По-мальчишески долговязый, он еще не вышел из детства, хотя за восемнадцать летних сезонов у него удлинились мышцы рук, а ноги вытянулись от неустанного плавания по каналам: на таких ногах он запросто двигался стремительными перебежками по раскаленному дну пересохшего моря, нырял в укрытие, тут же выскакивал и снова прятался; а бывало, прихватив серебряную клетку, совершал дальние походы за цветами-хищниками да еще умудрялся наловить ящериц им на прокорм. Можно сказать, он только и делал, что плавал да карабкался по горам; юноши отдают этим занятиям весь свой запас пыла и страсти, а в положенный срок является женщина — и без проволочек берет на себя те заботы, что прежде доверялись горам и рекам. Тяга к просторам и перемене мест сохранялась у Сиио дольше, чем у его сверстников; он вырослел с запозданием, а потому бегал-прыгал в одиночестве и даже разговаривал сам с собой, а другие в этом возрасте уже ходили к обмелевшие-



му каналу, где каждый пристраивал свою девушку, как статую, поперек углового челнока, покрепче прижимал к себе и пускался в плавание. Он вызывал беспокойство у родителей и разочарование у женщин, которые со дня его четырнадцатилетия наблюдали за ладной, быстро растущей тенью, умудренно кивали друг дружке и заглядывали в календарь, отсчитывая еще год, потом — так уж и быть — еще один...

Но с началом вторжения и эпидемии он словно застыл. Его вселенная захлебнулась в смерти. Города, выпиленные, сколоченные и свежеекрашенные, стали разносчиками заразы. Тяжесть множества смертей давила на него даже во сне. Он часто просыпался в слезах и хватал руками ночной воздух. Но родители его умерли, и уже давно подошло время найти себе пару, одну-единственную ласку, одну-единственную любовь.

А ветер все кружил, играя будоражащим ароматом. Сиио сделал глубокий вдох и почувствовал прилив тепла.

Потом он слышал какие-то звуки. Будто играл небольшой оркестр. Музыка поднималась по каменистой расселине прямо к его пещере.

Где-то в полумиле ленивый дымок потянулся к небу. Внизу, на краю древнего канала, притулилась небольшая хижина, год назад построенная

землянами для экспедиции археологов. Потом ее забросили, и Сию несколько раз украдкой спускался на берег, подсматривал в окна, но никогда не входил в опустевшие комнаты, опасаясь подцепить черную хворь.

Из той хижины и неслась музыка.

— Как в такой тесноте помещается целый оркестр? — удивился он и молча припустил вниз по склону в последнем свете дня.

Хотя у хижины по-прежнему был нежилой вид, из открытых окон лилась музыка. Перебегая от одного валуна к другому, Сию подобрался ближе и на полчаса залег ярдах в тридцати от пугающе шумной постройки. Он лежал ничком, у самой воды. В случае чего можно нырнуть в канал, и течение само понесет его обратно.

Музыка загрохотала еще сильнее, взметнулась над скалой и прогудела в горячем воздухе, пробирая Сию до костей. С дрогнувшей крыши дома летели клубы пыли. Хлопья сухой краски отделялись от деревянных стен и кружились в безмолвном снежном вихре.

Сию вскочил и тут же отпрянул. Никакого оркестра в домике не было. Только цветастые занавески. Только широко распахнутая входная дверь.

Музыка смолкла и тут же зазвучала вновь. Одна и та же мелодия повторилась десять раз подряд.

А запах, который выманил Сио из каменистого убежища, висел здесь густой пеленой и струился по его разгоряченному лицу.

Наконец одной перебежкой он добрался до окна и заглянул в комнату.

На низком столике поблескивал какой-то коричневый аппарат. Серебряная игла опустилась на крутящийся черный диск. Загрохотал оркестр! Сио в изумлении разглядывал эту диковинку.

Музыка прервалась. В тишине, нарушаемой лишь легким шипением, слышались шаги. Сорвавшись с места, он бросился в канал.

Погрузившись в прохладную воду, Сио лег на дно и затаился. Неужели это ловушка? Неужели его заманили сюда, чтобы схватить и убить?

Прошла минута, из ноздрей вырвались пузырьки воздуха. Он пошевелился и стал медленно подниматься к прозрачной границе подводного мира.

Всплывая, Сио смотрел вверх — и вдруг сквозь холодающий зеленый поток увидел ее. Там, над водой, застыло белое как мел лицо.

Оцепенев, он затаил дыхание. Потом незаметно скользнул по течению, и поток стал неспешно уносить его дальше и дальше. А она была дивно хороша собою, она была родом с Земли, а сюда прилетела на ракете, которая раскалила камни и обожгла воздух, но это прекрасное лицо осталось белым как мел.

Течение вынесло его к предгорьям. Он выбрался на сушу, вода текла с него в три ручья.

«До чего же красивая», — подумал он. Рухнув на берег, он судорожно хватал ртом воздух. Грудь сжимало. К лицу прилила кровь. Он оглядел свои руки. Не вселился ли в него черный недуг? Что, если заразиться можно от одного лишь взгляда?

Надо было вынырнуть, когда она склонилась над водой, подумал он, да вцепиться ей в горло. Она убивала нас, убивала! Он явственно видел ее белую шею, белые плечи. Какой необычный цвет! — застряло у него в голове. Нет, так нельзя, одернул он сам себя, убивала не она, а эта черная хворь. Разве может такое светлое создание таить в себе столько темного?

Интересно, она меня заметила?

Он встал, чтобы обсохнуть на солнце. Приложил к груди тонкую коричневую руку. Почувствовал, как бешено колотится сердце.

— Ух ты! — вырвалось у него. — Я видел ее, видел!

Не слишком медленным, но и не быстрым шагом он направился к пещере. Музыка все еще грохотала в домике внизу, словно развлекаая себя.

В пещере он начал молча, решительно и методично собирать свои пожитки. Бросил кусочки светящихся мелков, кое-что из еды и несколько

книг на тряпку, туго связал в узелок. И заметил, что руки дрожат. Повернул их ладонями вверх, испуганно оглядел пальцы. Сжимая под мышкой небольшой сверток, Сию поспешил вылезти из пещеры и направился вверх по склону, прочь от музыки и неотвязного запаха.

Он ни разу не оглянулся.

Солнце стало клониться к закату. Он чувствовал, что тень его отстает, тянется туда, где следовало бы остаться ему самому. Не стоило уходить из пещеры, где он обжился еще в детстве. В этой пещере он нашел себе десятки занятий, обнаружил сотню разных пристрастий. Выдолбил в скале печь и приноровился печь лепешки, каждый день свежие, самые разнообразные и превосходные на вкус. Сам растил злаки на горной лужайке. Готовил себе прозрачную шипучку. Научился делать музыкальные инструменты: серебристые флейты из редких марсианских металлов и даже крошечные арфы. Сам сочинял песни. Мастерил низкие скамеечки, ткал материю, шил одежду. И даже рисовал настенные картины светящимся кобальтом и кармином; эти картины, на удивление яркие и замысловатые, освещали пещеру долгими ночами. Частенько перелистывал сборник стихов, написанных им в пятнадцать лет, — эту книжку его родители с потаенной гордостью читали вслух, но только самым близким.

В общем, неплохо жилось в пещере, всегда было чем заняться.

С последними лучами солнца он дошел до перевала. Музыка сюда не доносилась. Запах — тоже. Вздохнув, он присел, чтобы с новыми силами продолжить путь через горы. Закрыв глаза.

Сквозь зелень воды проступило белое лицо.

Он тронул пальцами свои сомкнутые веки.

Белоснежные руки тянулись к нему, преодолевая стремительную мощь прибоя.

Подхватив узелок с дорогими сердцу вещичками, он было ринулся прочь, но тут ветер переменялся.

До слуха долетела музыка, теперь едва-едва уловимая. Сумасшедший металлический рев, приглушенный расстоянием.

Аромат духов, тоже едва уловимый, взбежал к перевалу каменистыми тропами.

На восходе лун Сио повернул в обратный путь, сбегая вниз по тем же каменистым тропам.

Пещера сделалась стылой и чужой. Он сложил костер, а потом подкрепился хлебом и дикими ягодами, добытыми в мшистых горах. Как быстро после его ухода в пещере стало холодно и неудобно. Даже его собственное дыхание странным эхом отскакивало от стен, словно чужое.

Прежде чем улечься спать, он загасил костер. И тут обнаружилось, что на пещерной стене лежит

слабый лучик света. Сомнений не было: этот луч пришел из хижины, стоявшей в полумиле внизу, на берегу канала. Сио зажмурился, но свет не исчезал. Он сливался то с музыкой, то с благоуханием цветов. Помимо своей воли Сио поочередно напрягал зрение, слух, обоняние, чтобы вытащить хотя бы одну прядь этого непостижимого переплетения.

В полночь он вышел из пещеры. Хижина в долине пестрела желтыми огнями, как яркая игрушка. А в одном из окон ему привиделась танцующая фигурка женщины.

— Надо ее прикончить, — сказал он себе. — За этим я и вернулся. Убить и закопать!

В полудреме ему померещился затерянный голос: «Кого ты хочешь обмануть?» Но он даже не стал открывать глаза.

Она жила в одиночестве. Назавтра он увидел ее на прогулке в предгорьях. На третий день она купалась в канале, часами не выходя на берег. На четвертый и пятый день Сио подбирался все ближе и ближе к домику, а на закате шестого дня, с наступлением темноты, очутился под самыми окнами и продолжил слежку.

На столе стояло штук двадцать маленьких, отливающих медью тюбиков с чем-то красным. Похлопывая себя по щекам, женщина размазала по

лицу прохладный на вид крем — получилась маска. Через некоторое время маска была стерта бумажными салфетками, которые тут же полетели в корзину. Покончив с этим занятием, она проверила один тюбик: мазнула пухлый рот, несколько раз чмокнула губами, стерла, наложила другой цвет и снова стерла; так она опробовала третий, пятый, девятый цвет, слегка тронула красным щеки, а потом взяла блестящий пинцет и принялась выщипывать брови. Накрутила волосы на какие-то нелепые приспособления и стала полировать ногти, напевая сладостную, незнакомую, инопланетную песню на своем языке — должно быть, очень красивую. Женщина мурлыкала, притопывая высокими каблучками по дощатому полу. При этом она расхаживала по комнате, прикрытая лишь белизной своего тела, потом улеглась в этой белизне на кровать и запрокинула голову; золотистые волосы свешивались до полу, а сама она то и дело подносила к алым губам какой-то тлеющий цилиндр, посасывала его, блаженно прикрывая веки, и медленно выпускала из узких ноздрей и ленивого рта струйки дыма, которые поднимались в воздух длинными бестелесными образами. Сие затрепетал. Призраки! У нее изо рта вылетают призраки. Да еще с такой легкостью. Как ни в чем не бывало. А ей и дела нет.



Когда она вставала, ее подошвы шлепнули по деревянным доскам. И снова она запела. Закружилась по комнате. Подняла лицо к потолку. Щелкнула пальцами. Распростерла руки, словно крылья, и под стук каблучков кружилась, кружилась в одиноком танце.

Инопланетная песня. Ну почему он не мог разобрать слов? Почему не умел настраивать разум, как делали прежде многие из его соплеменников, чтобы читать, понимать и мгновенно переводить чужие языки, чужие мысли. Он попробовал. Но нет, ничего не вышло. А она все пела прекрасную, незнакомую песню, из которой он ничего не мог разобрать:

— «Я тебе не изменю, для тебя любовь храню...»

Его покинули силы при виде земной плоти, земной красоты, рожденной за миллионы миль отсюда, совершенно иной, не такой, как марсианская. У него вспотели ладони, противно задергались веки.

Где-то зазвенел звонок.

Она взялась за диковинный черный аппарат, который, как тут же выяснилось, почти не отличался по своему назначению от устройства, хорошо известного сородичам Сио.

— Алло, это ты, Дженис? Боже, как я рада тебя слышать!

Ее лицо просияло. Она разговаривала с каким-то дальним городом. Волнующие звуки ее голоса не давали ему покоя. Но что означали ее слова?

— Господи, Дженис, за что ты меня сослала в такую дыру? Понимаю, милая, понимаю — отдохнуть. Но это у черта на рогах! Мне остается только раскладывать пасьянсы да плескаться в этом вонючем канале.

Черный аппарат прожужжал что-то в ответ.

— Я здесь копыта отброшу, Дженис. Да знаю, знаю. Всему виной эти святоши. Даже сюда добрались, очуметь можно. А как славненько все начиналось! Скажи мне только одно: когда мы снова открываемся?

Дивно, подумал Сно. До чего же красиво звучит. Невероятно. Он стоял в ночи под открытым окном и не мог налюбоваться ее восхитительным лицом и телом. Интересно, о чем у них шел разговор? Об искусстве, литературе или о музыке? Не иначе как о музыке — ведь она пела, все время пела. Непонятная музыка, хотя можно ли надеяться, что поймешь музыку другого мира? А нравы, язык, литературу? Здесь приходится опираться только на чутье. Старые знания не помогут. Нельзя не признать, что ее красота сильно отличается от мягкой, изящной, смуглой красоты вымирающей марсианской расы. У его матери были золотистые глаза

и стройные бедра. Но эта одиночка, напевающая в пустыне, оказалась куда крупнее — большие груди, широкие бедра, и, конечно же, ноги, обжигающие своей белизной, да еще эта странная манера стучать каблучками и разгуливать нагишом. Но ведь наверняка на Земле все женщины так ходят? Сиио кивнул себе в ответ. Надо их понять. Он представлял себе всех женщин того далекого мира обнаженными, златовласыми, пышнотелыми, на цокающих каблучках. А это волшебство — дым из рта и ноздрей! А призраки, духи из дымовых узоров, слетающие с губ! Вот поистине волшебное создание, плод огня и воображения! Она лепила образы в воздухе с помощью своего блистающего разума. Кто как не воплощенный разум редкостной чистоты и необъятности способен впускать в себя серо-красный огонек, чтобы затем выдыхать из ноздрей настоящие шедевры архитектуры, завораживающие своим изяществом и совершенством? Гений! Художник! Творец! Как же это делается и сколько лет нужно этому учиться? Как распределить свое время? От одного ее присутствия голова шла кругом. Он чувствовал, что вот-вот крикнет: «Научи меня!» Но боялся. Он ощущал себя ребенком. Видел, как формы, линии, дым, кружась, уносились в никуда. Она приехала сюда, в эту глушь, чтобы побыть наедине с собой, чтобы

в полном одиночестве, вдали от посторонних глаз, воплотить свои фантазии. Нельзя тревожить творцов, писателей, художников. Надо отойти в сторону и оставить свои вопросы при себе.

«Непостижимые все-таки существа!» — молча повторял он. Все ли женщины того огненно-зеленого мира похожи на эту? Все ли они — огненные призраки на волнах музыки? Все ли расхаживают голыми в своих грохочущих домах?

— Имеет смысл еще понаблюдать, — сказал он почти вслух. — Здесь есть чему поучиться.

Помимо своей воли он сцепил руки. Ему захотелось, чтобы она оказалась в этом кольце. Захотелось, чтобы она пела для него одного, создавала узоры в воздухе, учила его и рассказывала о своем далеком мире, о тамошних книгах, о прекрасной музыке...

— Не тяни, Дженис, назови точные сроки. А другие девочки как устроились? А в других городах так же паршиво?

Телефон жужжал в ответ, как насекомое.

— Неужели все до единого закрылись? На всей этой чертовой планете? Наверняка хоть одно местечко да осталось! Срочно найди мне что-нибудь подходящее, а то у меня просто!..

Странно все-таки. Словно он видел женщину впервые в жизни. Манера запрокидывать голову,

движения пальцев с ярко-красными ногтями — все было в новинку, в диковинку. Вот она скрестила белоснежные ноги, наклонилась вперед, облокотившись локтем о голое колено, вызывая и выдыхая духов, болтала и косилась в окно, да, именно туда, где в потемках прятался он. Она смотрела прямо сквозь него — ох, что бы она сделала, если бы заметила?

— Кому?! Это мне-то страшно здесь одной?

Она рассмеялась, а Сии тихонько вторил ей в лунной полутьме. Как же прекрасен ее земной смех, когда голова запрокинута, а из ноздрей вырывается мистический дымок, обретая бестелесные формы. Ему пришлось отвернуться от окна, чтобы глотнуть побольше воздуха — у него перехватило дыхание.

— Еще спрашиваешь! Будь уверена!

Что за чудные, редкостные слова произносит она сейчас? О жизни, о музыке, о поэзии?

— Слушай, Дженис, ну, покажи мне того, кто сегодня боится марсиан! Сколько их осталось — дюжина, две? Веди всех сюда, пусть занимают очередь, договорились? Отлично!

Когда он, не разбирая дороги, завернул за угол домика и споткнулся о пустые бутылки, ее смех настиг его и здесь. Даже с закрытыми глазами он ясно видел ее отливающую белым сиянием кожу,

а в памяти прочно засели фантомы, слетающие с ее губ колдовскими заклинаниями, облаками, дождями, ветрами. Ах, если б узнать перевод! Силы небесные, только бы понять! Слушай же! Что это за слово, или это, а вот это? Неужели она окликнула его? Нет, вряд ли. Но разве не его имя она произнесла?

В пещере он поел, но без всякого аппетита.

А потом сидел битый час на пороге, пока луны не поднялись еще выше, чтобы плыть по остывшему небосводу, тогда он разглядел в воздухе струйки пара от собственного дыхания, похожие на огненно-молчаливых духов, что вились у ее лица, а она все говорила и говорила; он не то слышал, не то вызывал в памяти ее голос, летящий вверх среди скал, чувствовал запах ее дыхания, запах дымящейся надежды, теплоту слов, согретых ее губами.

Наконец он решился:

— Спустишь-ка я к ней и заговорю — тихо, неспешно. Буду говорить с ней каждый вечер — глядишь, она начнет меня понимать, да и я выучу ее язык, а потом она придет со мной сюда, в горы, где нас ждет благодать. Я расскажу ей о своем народе и о своем одиночестве, признаюсь, как наблюдал за ней и слушал ее столько ночей подряд...

Но ведь она... — сама Смерть.

Он содрогнулся. Это подозрение, это слово не шло из головы.

Как же он мог забыть?

Достаточно коснуться ее руки, лица — и он зачахнет в считанные часы, ну, может быть, протянет неделю. Кожа потемнеет, соберется чернильными складками, начнет отмирать, отслаиваться и в конце концов высохнет, разлетится по ветру...

Всего одно прикосновение и... Смерть.

Но тут в голову пришло совсем другое. Она живет одна, вдали от своих сородичей. Должно быть, ей нравится предаваться размышлениям, раз она поселилась в уединении. Выходит, мы с ней похожи? И потом: раз она бежала из города, может, в ней и не гнездится Смерть?... Да! Скорее всего, так!

Хорошо бы провести с ней день, неделю, месяц, вместе поплавать по каналам, побродить по горам и снова послушать ту незнакомую песню, а он, в свой черед, достанет старинные ноты, и струны арф будут ей подпевать. Неужели это несбыточно? Да за такое можно отдать все на свете! Ведь от одиночества умирают, верно? Надо бы еще раз приглядеться к этим желтым огонькам в хижине. Целый месяц жить в согласии, находиться рядом с красотой, которой подчиняются даже призраки и духи, слетающие с губ, — разве можно упустить такой подарок судьбы? А уж если придет Смерть... то какая чудесная и необыкновенная!

Он встал. Потянулся. Зажег свечу в нише, где при свете пламени задрожали изображения его родителей. Снаружи темные цветы ожидали рассвета, чтобы трепетно раскрыться к ее приходу — она их заметит, бережно тронет стебельки, а потом пойдет бродить с ним по горам. Луны уже скрылись. Пришлось настроить особое зрение, чтобы в потемках не сбиться с дороги.

Сио прислушался. Внизу, в ночи, играла музыка. Внизу, во тьме, голос женщины вещал о чудесах, неподвластных времени. Внизу, в мелькании теней, белым жаром горела ее плоть, а вокруг головы танцевали призраки.

Он ускорил шаги.

Ровно без четверти десять ей послышался осторожный стук в дверь.



*За хозяина глоток  
да глоток на посошок!*

Родился, допустим, у кого-то младенец — так ведь пройдет чуть ли не целый день, пока весть об этом отстоится, созреет и разнесется по зеленым ирландским просторам, чтобы достичь наконец ближайшего городка и ближайшего паба, то бишь заведения Гиберы Финна.

Но если, допустим, кто-то умер, над полями и холмами загремит целый симфонический оркестр. Грандиозное «тра-та-та» грянет над всей округой, эхом отражаясь от графитовых дощечек для записи заказов и подталкивая завсегдатаев к опасной фразе: «Налей-ка еще».

Так случилось и в этот жаркий летний день. Не успел паб открыться, проветриться и принять посетителей, как Финн увидел сквозь распахнутую дверь клубы дорожной пыли.

— Это несется Дун,— пробормотал Финн.

Дун-гимнобежец был местной знаменитостью: он ухитрялся смыться из кинотеатра до первых звуков ненавистного государственного гимна, а также первым разносил любые вести.

— А вести-то нынче недобрые,— пробормотал Финн.— Уж больно резво бежит!

— Эге! — крикнул Дун, прыгая через порог.— Конец, преставился!

Столпившиеся у стойки завсегдатаи повернулись в его сторону.

Дун наслаждался своим превосходством, держа их в неведении.

— На-ка, выпей вот. Может, тогда язык развяжется!

Финн сунул стакан в загребущую лапу Дуна. Тот, промочив горло, начал обдумывать, как изложить факты.

— Сам,— наконец выпалил он,— лорд Килготтен. Преставился. Еще и часу не прошло!

— Боже милостивый,— тихо сказали все хором.— Упокой его душу. Славный был старик. Доброго нрава.

Ибо лорд Килготтен, сколько они себя помнили, ходил по тем же полям, выгонам и амбарам, не минуя и это питейное заведение. Его кончина стала событием такого же масштаба, каким в свое время было отплытие норманнов-завоевателей на-

зад во Францию или вывод чертовых британцев из Бомбея.

— Прекрасный был человек.— Финн выпил за его светлую память.— Даром что каждый год мотался в Лондон, аж на две недели.

— Сколько ему было? — спросил Брэнниген.— Восемьдесят пять? Восемьдесят восемь? Мы-то думали, его срок давно подошел.

— Таких людей,— сказал Дун,— топором не выбьешь из колеи. Взять, к примеру, его давнишнюю поездку в Париж. Другой бы сломался, а этот — ни-ни. Выпивал он крепко: другой бы захлебнулся, а этому хоть бы хны, доплыл, можно сказать, до берега. А убила его час назад ничтожная вспышка молнии в чистом поле, где он, собирая ягоды, прилег отдохнуть под деревом со своей секретаршей, барышней девятнадцати лет.

— Господи прости,— сказал Финн,— откуда ж в такое время взяться ягодам? Это *она* спалила его молнией страсти. Поджарила до хрустящей корочки!

За этим замечанием последовал артиллерийский салют из двадцати одного залпа хохота, который стал утихать, когда весельчаки вспомнили о причине такого веселья, а в бар начали прибывать другие горожане, чтобы разделить скорбь и помянуть покойного.

— Хотелось бы знать,— задумчиво промолвил Финн таким тоном, от которого даже языческие боги перестали бы чесаться на пиру и замерли в молчании.— Хотелось бы знать: какая судьба постигнет вино? То самое вино, которое Лорд Килготтен закупал квартами и тоннами, в тысячах бочек и бутылок, что хранились у него в погребах и на чердаках, а может статься — кто знает,— даже под кроватью?

— И то верно,— спохватились завсегдатаи, потрясенные этой мыслью.— Вот-вот. В самом деле. Какая судьба?

— Сомнений нет: оно завещано какому-нибудь проклятому янки — приبلудному кузену или племяннику, развращенному жизнью в Риме, потерявшему рассудок в Париже, который прилетит сюда со дня на день, наложит лапу на это добро, все спустит и разграбит, а город Килкок и вся наша братия останется с носом! — на одном дыхании выпалил Дун.

— И то верно.— Голоса звучали приглушенно, как зачехленные в темный бархат барабаны на ночном марше.— И то верно.

— А родни-то у него *нет!* — огорошил слушателей Финн.— Никакие придурки-племянники и недотепы-племянницы, что вываливаются из гондол в Венеции, сюда не приплывут. Я загодя навел справки.

Финн выдержал паузу. Это был миг его торжества. Все уставились на него. Все обратились в слух, чтобы не пропустить важное сообщение.

— Почему бы, рассудил я, не быть воле Божьей на то, чтобы Килготтен оставил все десять тысяч бутылок бордо и бургундского жителям самого прекрасного города во всей Ирландии? *Нам!*

Это вызвало бурю оживленных откликов, прерванных тем, что створки входной двери распахнулись настежь и впустили в бар женушку Финна, редкую гостью в этом хлеву. Брезгливо оглядев собравшихся, она отчеканила:

— Похороны через час!

— Через час? — вскричал Финн. — Как же так? Он еще остыть не успел...

— Ровно в полдень, — подтвердила жена, становясь выше ростом по мере созерцания этого гнусного племени. — Доктор со священником уже вернулись из замка. Его светлость распорядился, чтобы похороны состоялись без промедления. Отец Келли говорит: «Варварство, да и только. К тому же могила не готова». А доктор: «Нет, готова! Намедни Хэнрахан должен был помереть, да заартачился. Уж я его лечил и так и этак, а он — ни в какую. А могила-то пропадает почем зря. В нее Килготтена и положим: подсыпка есть, даже плиту привезли». Приглашаются все. Поднимайте-ка свои задницы!

Двустворчатая дверь захлопнулась. Мистическая женщина удалилась.

— Похороны! — вскрикнул Дун, готовясь припустить во весь дух.

— Нет, — просиял Финн. — Выходите. Заведение закрыто. *Поминки!*

— Сам Иисус Христос, — прохрипел Дун, утирая пот со лба, — не сошел бы с креста и никуда бы не двинулся в такую жару.

— Жара, — изрек Маллиген, — поистине адская.

Сняв пиджаки, они зашагали вверх по склону и добрались до сторожки у ворот Килготтена, где увидели приходского священника, отца Келли, который направлялся в ту же сторону. Он снял с себя чуть ли не все, кроме воротничка, и побагровел от жары, как свекла.

— К чему такая спешка? — полюбопытствовал Финн, не отставая ни на шаг от святого отца. — Неладно это. Не иначе как что-то стряслось?

— Да уж, — ответил священник. — В завещании обнаружилась секретная приписка...

— Так я и знал! — воскликнул Финн.

— Что? Что такое? — загалдела толпа, скисшая было от жары.

— Если правда о ней просочится, это вызовет бунт, — только и сказал отец Келли, устремляя взор

к кладбищенским воротам. — Вы все узнаете в заключительный момент.

— Это момент после заключения или перед заключением? — без задней мысли спросил Дун.

— Ну и болван, прямо жалость берет, — вздохнул священник. — Тащи свою задницу через ворота. Да не рухни в яму!

Дун послушался. За ним прошли остальные, краснея от волнения. Солнце, словно для того, чтобы ловчее было подглядывать, спряталось за тучку, и на кладбище налетел порыв ветра, принеся минутное облегчение.

— Вот могила, — кивнул священник. — Сделайте милость, выстройтесь по обеим сторонам аллеи, поправьте галстуки, если таковые имеются, а главное, проверьте ширинки. Встретим Килготтена в наилучшем виде — а вот и он сам!

Тут действительно появился лорд Килготтен, простая душа: в гробу, водруженном на телегу с его фермы; а уж за телегой растянулась на полдороги вереница из автомобилей, легковых и грузовых, палимая солнцем пуще прежнего.

— Ну и процессия! — воскликнул Финн.

— В жизни такой не видывал! — воскликнул Дун.

— Прикусите языки, — вежливо сказал священник.

— Боже мой,— произнес Финн.— Вы только поглядите на этот *гроб!*

— Видим, Финн, видим! — ахали все присутствующие.

Ибо проплывающий мимо них гроб, заколоченный серебряными и золотыми гвоздями, был и впрямь сработан на совесть, вот только из какого материала?

Это были доски от ящиков, планки от винных упаковок, доставленных морем из Франции для погребов лорда Килготтена!

У завсегдатаев паба перехватило дух. Они закачались, хватая друг друга за локти.

— Ты ведь умеешь читать по-ихнему, Финн,— прошептал Дун.— Назови хотя бы *марки!*

Оглядев гроб, сделанный из винной тары, Финн почтительно изрек:

— Разрази меня гром. Смотрите! Вот «Шато лафит Ротшильд», урожая тысяча девятьсот семидесятого года. Вот «Шато неф дю пап», шестьдесят восьмого. Тут наклейка вверх ногами: «Ле Кортон»! Смотрим снизу вверх: «Ла Лагюн»! Какой шик, боже ты мой, какой высокий класс! Я бы и сам не прочь, чтоб меня похоронили в таком клейменом дереве!

— Интересно,— вслух подумал Дун,— а *изнутри* ему видны эти клейма и марки?



— Ты лишнего-то не болтай,— буркнул священник.— А вот и *остальное!*

Мало того что при виде покойника в гробу солнце ушло за облака, так за этим последовало второе явление, которое ввергло обливающихся потом горожан в полнейшее замешательство.

— Можно было подумать,— припоминал впоследствии Дун,— будто кто-то оступился, упал в могилу, сломал ногу и нарочно испортил такой день!

Дело в том, что составляющие процессию легковые и грузовые машины были кое-как нагружены ящиками с продукцией различных французских виноградников, а замыкал шествие громоздкий старинный фургон, какими пользовалась в прежние времена компания «Гиннес»; его тянула упряжка горделивых белых лошадей в траурном уборе, вспотевших от непривычного груза.

— Будь я проклят,— сказал Финн,— если лорд Килготтен не привез угощение для собственных поминок.

— Ура! — разнеслось над кладбищем.— Вот что значит приличный человек!

— Не иначе как догадался, что нынешняя жара распалит даже монашку и священника, а у нас языки вывалятся от жажды!

— Дорогу! Освободи проход!

Народ расступился, чтобы пропустить на кладбище этот обоз с булькающим грузом, помеченным бирками из Южной Франции и Северной Италии.

— Когда-нибудь, — прошептал Дун, — нужно будет воздвигнуть Килготтену памятник за его понимание дружбы!

— Размечтался, — сказал священник. — Не время об этом заикаться. Ибо после гробовщика приходит кое-кто пострашнее.

— Кто ж может быть страшнее?

Пропустив к могиле последний фургон с вином, по аллее в одиночку зашагал человек с напомаженными усами, в шляпе и начищенных до блеска туфлях, в застегнутом наглухо пиджаке, из-под обшлагов которого виднелись, как положено, белые манжеты, под мышкой он сжимал плоскую папку, напоминавшую дамскую сумочку. Он словно вышел из ледника, прорубленного в залежах снега: язык напоминал сосульку, а глаза — замерзшие лужицы.

— Боже правый! — сказал Финн.

— Это стряпчий? — предположил Дун.

Незнакомцу дали дорогу.

Стряпчий — а это он и был — прошествовал мимо, как Моисей, перед которым расступилось Красное море, как король Людовик на прогулке,

как самая заносчивая шлюха с Пикадилли: нужное подчеркнуть.

— Душеприказчик Килготтена,— зашипел Малдун.— Я видел, как он вышагивает по Дублину — ни дать ни взять вестник Апокалипсиса. И фамилия у него лживая: Клемент, то бишь милосердный. На полпрожи ирландец, на всю рожу англичанин. Хуже не придумаешь!

— Что может быть хуже смерти? — прошептал кто-то.

— Скоро увидим,— пробормотал священник.

— Джентльмены!

Толпа повернулась на голос.

Стряпчий Клемент остановился на краю могилы и, достав из-под мышки заветный портфель, извлек на свет перевязанный лентой и украшенный гербом документ невероятной красоты, от которой начиналась резь в глазах и боль в сердце.

— До начала траурной церемонии,— сказал он,— прежде чем отец Келли приступит к панихиде, я должен сделать сообщение. В завещании лорда Килготтена имеется дополнительное распоряжение, которое я сейчас оглашу.

— Прямо одиннадцатая заповедь,— пробормотал священник, опустив голову.

— А как звучит одиннадцатая заповедь? — хмуро спросил Дун.

— Для тебя — так: «Попридержи язык свой, не хлопай ушами своими», — сказал священник. — Ш-ш-ш.

Ибо стряпчий, развязав ленту, стал зачитывать документ, и в жарком летнем воздухе зазвучало следующее:

— «...исходя из того, что мои погреба ломятся от лучших марочных вин из разных стран мира...»

— Это точно! — подтвердил Финн.

— «...исходя из того, что граждане города Килкока не ценят тонкий продукт, а предпочитают... э-э-э... крепкие напитки...»

— Кто *сказал*?! — взорвался Дун.

— Будешь у меня землю жрать, — вкрадчиво предупредил священник.

— «...настоящим заявляю, что вопреки расхожему мнению, — декламировал стряпчий с мстительным удовольствием, — человек *может* забрать кое-что на тот свет. Такова моя воля, изложенная в дополнительном распоряжении к моему завещанию, совершенному, предположительно, за месяц до моей кончины». И подпись: «Уильям, лорд Килготтен». Датировано седьмым числом предыдущего месяца.

Стряпчий умолк, сложил документ и закрыл глаза, ожидая удара грома вслед за сверкнувшей молнией.

— Означает ли это,— содрогнулся Дун,— что лорд вознамерился?..

Кто-то вытащил пробку из бутылки.

Она хлопнула, как выстрел, отчего все замерли.

Но на самом деле это, конечно, славный душеприказчик Клемент, стоявший на краю разверстой могилы, откупорил бутылку «Ля Вьей Ферм» семьдесят третьего года!

— Стало быть, это поминки? — нервно хихикнул Дун.

— Нет еще,— скорбно ответил священник.

По-летнему горячо ухмыляясь, стряпчий Клемент начал с бульканьем лить в могилу вино — прямо на гроб, в котором покоились томимые жаждой кости лорда Килготтена.

— Держи его! Он спятил! Хватай бутылку! Не давай!

Такого взрыва негодования можно было ожидать разве что от толпы болельщиков, если бы их любимую команду в полном составе укокошили в центре поля!

— Постой! Что ж это делается!

— Быстрее! Бегите за хозяином!

— Надо ж такое ляпнуть,— пробормотал Финн.— Его светлость-то в гробу лежит, а вино в могилу бежит!

Потрясенная этим неслыханным надругательством, толпа могла лишь следить, как остатки вина из первой бутылки журча падают в освященную землю.

Клемент передал бутылку Дуну и откупорил вторую.

— Остановитесь, подождите минуту! — прогремел глас Судного дня.

Это, конечно, был отец Келли, чей сан давал право на высшую истину.

— Не хотите ли вы сказать, — выкрикнул священник, щеки которого покраснелись от зноя, а глаза слезились от палящего солнца, — что собираетесь опорожнить все это в могилу Килготтена?

— Таково мое намерение, — заявил стряпчий.

Он уже наклонил вторую бутылку, но священник схватил его за руки, чтобы из горлышка не вытекло ни капли.

— И вы полагаете, что мы будем стоять в стороне и молча взирать на это святотатство?!

— Да, на поминках принято вести себя именно так. — Стряпчий попытался довершить начатое.

— Ну-ка, подсобите! — Священник оглядел своих единомышленников, сорвавшихся из-за стойки паба, посмотрел на их вдохновителя Финна, на небо, где прятался Бог, на землю, где лежал Килготтен, играя в молчанку, и, наконец, на

стряпчего Клемента и его проклятый свиток с ленточкой.— Остерегитесь, любезный, вы провоцируете беспорядки!

— Да! — закричали все, пошатываясь и сжимая кулаки, в которых скрежетали невидимые камни.

— Какого года это вино? — Не обращая на них ни малейшего внимания, Клемент спокойно рассмотрел этикетку.— «Ле Кортон». Урожая девятисот семидесятого. Отменное вино наилучшего года. То, что надо.— Он вырвался из рук священника, чтобы спокойно вылить вино в могилу.

— Сделай же что-нибудь! — закричал Дун.— Неужто у тебя наготове нет проклятия?

— Священникам проклятия не к лицу,— объяснил отец Келли.— Ну-ка, Финн, Дун, Хэннаген, Берк. Сообща! Пошевелим мозгами.

Священник стал удаляться, а они бросились следом и сбились в тесный кружок, чтобы сообща пошевелить мозгами. В какой-то миг святой отец распрямился, желая проверить, чем занимается Клемент. Стряпчий занимался третьей бутылкой.

— Торопитесь! — воскликнул Дун.— Скоро ничего не останется!

Хлопнула еще одна пробка — под негодующие вопли собратьев Финна, «Жаждающих воинов», как они впоследствии прозвали сами себя.

Все слышали, как священник во время краткого совещания произнес:

— Финн, ты гений!

— Это так! — подтвердил Финн, и группа рассыпалась, а священник поспешил назад, к могиле.

— Будьте любезны, сэр,— произнес он, вырывая бутылку из рук стряпчего,— напоследок повторно огласить эту приписку, будь она неладна.

— Охотно.— Клемент и вправду сделал это с большой охотой. Развязав ленту, он ловко развернул завещание: — «...что вопреки расхожему мнению, человек *может* забрать кое-что на тот свет...»

Закончив, он сложил документ, еще раз изобразил улыбку, что доставляло удовольствие, по крайней мере, ему самому, и потянулся за бутылкой, конфискованной священником.

— Минутку, сэр,— сказал отец Келли, делая шаг назад. Он обвел взглядом толпу, которая боялась пропустить хоть одно мудрое слово.— У меня к вам вопрос, господин законник. Каким образом вино должно попасть в могилу?

— Попасть в могилу — значит, попасть в могилу,— отрезал стряпчий.

— Важно, чтобы вино, тем или иным путем, достигло означенного места, вы согласны? — уточнил священник, загадочно улыбаясь.



— Можно лить через плечо или подбрасывать бутылку в воздух,— сказал стряпчий,— главное — чтобы оно попало непосредственно на крышку гроба или же в землю.

— Понятно! — воскликнул священник.— Рядовой состав! Первый взвод, слушай мою команду! Первый батальон, слушай мою команду! Стройся! Дун!

— Слушаю!

— Раздать паяк! Выполняй!

— Есть! — Дун бросился выполнять команду. Под оглушительные вопли рядового состава.

— Я обращусь в полицию! — пригрозил стряпчий.

— Это *ко мне*,— сказал голос из толпы.— Офицер полиции Баннион. Какая у вас жалоба?

Остолбенев, стряпчий Клемент заморгал и в конце концов проблеял:

— Я удаляюсь.

— Живым тебе за ворота не выйти,— развеселился Дун.

— Я остаюсь,— произнес стряпчий.— Однако...

— Однако — что? — спросил отец Келли, а между тем в шеренге заблестели штопоры, и в воздух полетели пробки.

— Вы нарушаете букву закона.

— Никоим образом,— спокойно возразил священник.— Мы всего лишь сдвигаем знаки препинания и ставим точки над «i».

— Смирно! — скомандовал Финн, видя, что все готовы.

По обе стороны могилы замерли жаждающие, каждый с бутылкой отборного вина — «Шато ла-фит Ротшильд», «Ле Кортон» или «Кьянти».

— Мы все это выпьем? — спросил Дун.

— Закрой рот,— сказал священник, устремляя взор к небу.— Боже милостивый,— начал он. Тут все склонили головы и сдернули кепки.— Боже милостивый, позволь возблагодарить тебя за то, что нам предстоит получить. Хвала тебе, Господи, что ты направил светлый разум Гибера Финна, который это придумал...

— Хвала тебе,— подхватил негромкий хор.

— Пустяки,— зарделся Финн.

— И благослови это вино, которое, возможно, пойдет окольным путем, но в конце концов просочится туда, куда нужно. А если нынешнего дня окажется мало, если мы всего не осилим, помоги нам, Боже, возвращаться сюда каждый вечер до тех пор, пока вино не упокоится с миром.

— Ах, золотые слова,— умилился Дун.

— Ш-ш-ш,— зашипели со всех сторон.

— И, сообразно духу сего события, Боже милосердный, не следует ли нам с открытым серд-

цем пригласить нашего друга, стряпчего Клемен-та, присоединиться к нам?

Кто-то подсунул стряпчему бутылку лучшего вина. Тот подхватил ее, чтобы не разбить.

— И, наконец, упокой, Господи, душу старого лорда Килготтена, чьи многолетние собирательские труды помогут нам пережить этот скорбный час. Аминь.

— Аминь,— повторили все.

— Смирно! — выкрикнул Финн.

Мужчины замерли, подняв бутылки.

— «За хозяина глоток...», — начал священник.

— «...да глоток на посошок!» — договорил Финн.

Теперь кладбищенскую тишину нарушало только сладостное бульканье, и вдруг среди этих звуков, как вспоминал через многие годы Дун, из опущенного в могилу гроба раздался жизнерадостный смех.

— Добрый знак,— сказал изумленный священник.

— И верно,— кивнул душеприказчик, услышавший то же самое.— Добрый знак.

## *В июне, в темный час ночной*

Он ждал в летней ночи долго-долго, пока мрак не прильнул к теплой земле, пока в небе не зашевелились ленивые звезды. Положив руки на подлокотники моррисовского кресла, он сидел в полной темноте. До него доносился бой городских часов: девять, десять, одиннадцать, а потом, наконец, и двенадцать. Свежий ветер хлынул в кухонное окно темной рекой, налетел на него, как на мрачный утес, а он только молча наблюдал за входной дверью — молча наблюдал.

В июне, в темный час ночной...

Стихи прохладной ночи, созданные Эдгаром Алланом По, скользнули у него в памяти, как воды затененного ручья.

Спит леди! Пусть спокойно спит,  
Пусть небо спящую хранит!  
И сновиденья вечно длит...\*

---

\* Перевод А. Эппеля.

Он прошел лабиринтом черных коридоров и шагнул в сад, кожей ощущая город, свернувшийся в своей постели, во сне, в ночи. На траве поблескивала змейка садового шланга, свернутого в упругое кольцо. Он включил воду. Стоя в одиночестве и поливая цветочную клумбу, он воображал, будто дирижирует оркестром, который могут услышать лишь бродячие собаки, что слоняются в ночи со зловещими белозубыми улыбками.

Потом он осторожно перенес весь свой вес на рыхлую землю под окном и, увязая обеими ногами, оставил четкие следы. Вернувшись в дом, двинулся вслепую вдоль невидимого коридора, роняя на пол комья грязи.

Сквозь окно веранды он различил смутные очертания заполненного на треть стакана с лимонадом, оставленного *ею* на перилах крыльца. Он слегка задрожал.

Теперь он ощущал, как она возвращается домой. Летней ночью идет издалека, через весь город. Он закрыл глаза, напрягся, чтобы уточнить место, и определил, каким маршрутом она передвигается в темноте: ему было видно, где она ступила на мостовую и перешла улицу, в какую сторону двинулась по тротуару, стуча каблучками — тут-тук, тук-тук — под июньскими вязами и последней сиренью, пока еще с кем-то из подружек.

В пустынном ночном безлюдье он вжился в ее облик. В руках сумочка. Длинные волосы щекочут шею. На губах слой помады. Не двигаясь с места, он шел, шел, шел домой в полночной тьме.

— Счастливо!

Ему слышались и не слышались голоса, а она подходила все ближе, вот она уже в какой-то миле от него, в какой-то тысяче ярдов, спускается, как хрупкий белый фонарик, по невидимой проволоке в овраг, где стрекочут сверчки, квакают лягушки, журчит вода. Он ощущал шершавые деревянные ступеньки, ведущие вниз, как будто вернулся в детство и сам побежал к ручью, не боясь занозить пятки на досках, согретых теплой пылью ушедшего дня...

Он вытянул перед собой руки. Вот большие пальцы, а за ними и все остальные соединились в воздухе, образовали круг пустоты. Тогда он начал очень медленно сжимать объятия, все крепче и крепче, приоткрыв рот, закрыв глаза.

Потом опустил подрагивающие руки на подлокотники кресла. Глаза открывать не стал.

Как-то ночью — дело было давным-давно — он забрался по пожарной лестнице на крышу здания суда, чтобы с башни разглядеть этот серебристый город, лунный город, летний город. И в неосвещенных домах ему открылись два начала: человек и

сон. Две стихии, соединившиеся в постели, выдыхали в неподвижный воздух изнеможение и страх, а потом вбирали их снова до тех пор, пока одна из стихий не очищалась, пока не изгонялись раз и навсегда, задолго до рассвета, все неудачи, отвращения и страхи минувшего дня.

Ночной город его заворожил, и он почувствовал себя всемогущим волшебником, который управляет судьбами, как марионетками, дергая за паутинки ниток. С самого верха башни он за пять миль угадывал малейший трепет листвы в лунном свете, чуял угасание последнего огонька, словно мерцающего сквозь прорези в оранжевой тыкве, заготовленной на Хэллоуин. Тогда город не мог укрыться от его взгляда, не мог пошевелиться и даже вздрогнуть без его ведома.

Точь-в-точь как сейчас. Он сам превратился в башню с часами, которые размеренно бухали и вешали время могучим бронзовым боем, не спуская глаз с города, где молодая женщина, подгоняемая порывами ветра, страха и самоуверенности, возвращалась домой в меловом лунном свете — вброд через каменно-асфальтовые русла улиц, мимо свежестриженных лужаек, дальше бегом, ниже, ниже в овраг по деревянным ступенькам, а потом вверх, вверх по склону, по склону!

Он услышал ее шаги задолго до того, как они застучали рядом. Услышал ее прерывистое дыха-

ние еще до того, как оно приблизилось. Его взгляд опять выхватил оставленный на перилах стакан. А затем послышались всамделишные звуки — настоящий бег и шумные вздохи, неотвязным эхом отдающиеся в ночи. Он выпрямился. Шаги в панике простучали по мостовой, по тротуару.

Снаружи раздалось бормотание, на ступенях крыльца произошла неловкая заминка, в замочной скважине повернулся ключ, и громкий шепот стал молить: «О Господи! О Господи, помоги!» Шепот! Шепот! Женщина ворвалась в дом, хлопнула дверью и, не умолкая, бросилась в сторону темной комнаты.

Он скорее почувствовал, нежели увидел, как ее рука тянется к выключателю.

И кашлянул.

В темноте она прижалась спиной к дверям. Пролейся на нее лунный свет, по нему бы побежала рябь, как по озерцу в ветреную ночь. У нее на лице — он это явственно ощутил — вспыхнули чистой воды сапфиры, а кожа заблестела от соленых капель.

— Лавиния,— позвал он шепотом.

Ее раскинутые руки замерли, будто на распятии. Он услышал, как приоткрылись ее губы, чтобы выдохнуть тепло. Она была хрупким, смутно-белым мотыльком; он приколот ее к створкам две-



ри острой иглой ужаса. Вокруг этого экземпляра можно было ходить, сколько вздумается, и разглядывать, разглядывать.

— Лавиния,— прошептал он.

От него не укрылось, как зашлось ее сердце. Но она не шелохнулась.

— Это я,— продолжил он.

— Кто? — спросила она совсем тихо, а может, это у нее на шее забилась тонкая жилка.

— Не скажу,— шептал он.

Вытянувшись, он стоял посреди комнаты. До чего же приятно ощущение своей высоты! Хорошо, когда чувствуешь себя рослым, видным, темноволосым, когда пальцы изящны, как у пианиста,— того и гляди забегают по клавишам, извлекают из них сладостную мелодию, ритмы вальса. Ладони были влажными, словно их опустили в чашу с мятой и охлаждающим ментолом.

— Если сказать, кто я такой, ты, чего доброго, перестанешь бояться. А я хочу, чтобы ты боялась. Тебе страшно?

В ответ не раздалось ни слова. Она сделала выдох и вдох, выдох и вдох, точно раздувала маленькие мехи, которые поддерживали огонек ее страха, не давая ему угаснуть.

— Зачем ты ходила на последний сеанс? — спросил он шепотом.— *Зачем* ты ходила на последний сеанс?

Ответа не было.

Шагнув вперед, он услышал ее судорожный вдох, будто из ножен вытащили меч.

— Почему ты одна пошла через овраг? — допытывался он. — Ты ведь возвращалась одна, верно? Боялась столкнуться со мной на мосту? Зачем ты ходила на последний сеанс? Почему одна пошла через овраг?

— Я... — выдохнула она.

— Ты, ты, — подтвердил он.

— Не надо... — Ее шепот был истошнее крика.

— Лавиния. — Он приблизился еще на шаг.

— Умоляю, — произнесла она.

— Отвори дверь. Выйди. И беги, — прошептал он.

Она не двинулась с места.

— Открывай дверь, Лавиния.

Ее душили рыдания.

— Беги, — приказал он.

Следующий шаг — и он почувствовал какое-то прикосновение к своему колену. Он отмахнулся, в темноте что-то накренилось и перевернулось — не то столик для рукоделия, не то корзина, из которой выкатилось полдюжины невидимых клубков, по-кошачьи метнувшихся врассыпную. В единственном освещенном луной месте, на полу под окном, блеснули металлической стрелкой портновские ножницы. На ощупь они были холодны,

точно зимний лед. Неожиданно он протянул их ей сквозь застывший воздух.

— Бери,— прошептал он.

И коснулся ими ее запястья. Она отдернула руку.

— Держи,— настаивал он.

— Говорю же: возьми,— повторил он, немного выждав.

Разжав ее пальцы, которые уже были сведены холодом и не отзывались на прикосновения, он с силой вложил в них ножницы.

— Вот так,— сказал он.

Он бросил мимолетный взгляд на залитое лунным светом небо, а когда опустил глаза, не сразу нашел ее в темноте.

— Я тебя поджидал,— сказал он.— Впрочем, это не ново. Я и других ждал точно так же. Но все в конце концов разыскивали меня сами. Это не составляет труда. Пятеро милых девушек за последние два года. Я поджидал их — кого в овраге, кого на окраине, кого у озера; ждал где придется, а они выходили меня искать. На другой день читать газеты — одно удовольствие. И ты сегодня ночью вышла на поиски, в этом нет сомнения, иначе зачем было идти в одиночку через овраг? Ты нагнала на себя страху и пустилась бежать, так ведь? Не иначе, боялась, что я подкарауливаю в самом низу? Посмотреть бы тебе со стороны, как ты мчалась

по дорожке к дому! Как возилась с замком! А уж как запиралась изнутри! Видно, решила, будто дома тебе ничто не угрожает, ничто, ничто, ничто не угрожает?

Сжимая ножницы в одеревеневшей руке, она заплакала. Ему были заметны только легкие блики, словно от воды, стекающей по стенке полутемной пещеры. Он услышал всхлип.

— Не надо,— прошептал он.— У тебя же есть ножницы. Слезами ничего не изменишь.

Но она все равно плакала, не в силах пошевелиться. Ее зазнобило. Она начала медленно сползать на пол.

— Успокойся,— шепнул он.— Меня бесят твои слезы.— Он потерял терпение.— Я этого не выношу.

Он стал тянуть к ней руки, пока одна из них наконец не коснулась ее щеки. Кожа на ощупь была мокрой, а теплое дыхание билось о его ладонь, как летняя бабочка. Тогда он произнес лишь одно слово.

— Лавиния,— вкрадчиво сказал он.— Лавиния.

Как отчетливо помнил он прежние ночи в прежние времена, во времена детства, когда они всей компанией целыми днями играли в прятки — бегали-прятались, бегали-прятались. С наступлени-

ем весны, и в теплые летние ночи, и в конце лета, и в те первые пронзительные осенние вечера, когда двери закрывались рано, а на террасах шевелились разве что опавшие листья. Игра в прятки продолжалась до тех пор, пока не закатывалось солнце, пока не всходила снежная краюшка луны. По зеленой лужайке топотали детские ноги, будто с веток беспорядочно сыпались спелые персики вперемежку с дикими яблоками, а водящий, прикрывая руками опущенную голову, нараспев отсчитывал: пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят... И вот уже стук яблок уносился вдаль, ребята надежно хоронились кто под сенью кустарника, кто на дереве, кто под ажурным крыльцом, а умные собаки старались не вилять хвостами, чтобы никого не выдать. Тем временем счет подходил к концу: восемьдесят пять, девяносто, девяносто пять, сто!

*Пора не пора — выхожу со двора!*

*Кто не спрятался, я не виноват!*

И водящий выбегал искать, а остальные зажимали руками рты, чтобы удержать рвущийся на волю смех, вкусный, как ранняя земляника. Водящий, наострив уши, ждал хоть малейшего шороха с высокого вяза, хоть биения сердца, хоть косого взгляда собаки в сторону какого-нибудь ку-

ста, хоть робкого журчания смеха, который грозит хлынуть через край, если водящий пробежит совсем близко, не заметив тень, скрытую в тени.

Он прошел в ванную затихшего дома, предаваясь этим мыслям, наслаждаясь ясным потоком, бурным наплывом воспоминаний, подобных водопаду, который срывается с крутого обрыва и падает в глубины сознания.

Какими же гордыми и таинственными становились те, кто сидел в засаде; как лелеял их, упивающихся своим превосходством, спасительный полумрак. Обливаясь потом, каждый съеживался, точно деревянный божок, и думал, что можно прятаться *вечно!* А недотепа-водящий бежал мимо, обрекая себя на неудачу и верный проигрыш.

Бывало, водящий остановится у твоего дерева и вопьется глазами в гущу ветвей, а ты, скорчившись, кутаешься в свои невидимые теплые крылья, в огромные, бесцветные, перепончатые крылья, как у летучей мыши. Он кричит: «Я вижу, ты там!» Но не тут-то было. «Ты точно там, *наверху!*» А ты — молчок. «Давай спускайся!» Но ему в ответ ни слова, только победная улыбка Чеширского кота. Тогда водящий начинает сомневаться. «Это ведь ты?» Первый признак неуверенности. «Эй! Я *знаю* ты там, *наверху!*» Ответа нет. Дерево — и то затаилось в темноте, оно даже слегка дрожит — листок тут, листок там. И водящий, испугавшись

темноты в темноте, убегает в поисках более легкой добычи, которую можно засечь и окликнуть по имени. «Ну, и сиди там».

Ополаскивая под краном ладони, он подумал: «Зачем я мою руки?» И крупницы времени опять потекли в сосуд песочных часов, но это был уже другой год...

Иногда, вспоминалось ему, ребята и вовсе не могли его найти; он не давал им такой возможности. Без единого звука он так долго стоял на яблонево-м суку, что сам превращался в наливное яблоко; так долго скрывался в ветвях каштанового дерева, что приобретал твердость и густо-коричневый блеск осеннего каштана. Подумать только, какое могущество дает тебе тайное укрытие, как разрастается твоя значительность, даже руки начинают ветвиться в разные стороны под притяжением звезд и фаз луны, и в конце концов твоя тайна окутывает весь город и берет его под защиту благодаря твоему сочувствию и терпению.

В темноте можно творить что угодно, ну просто все. Что хочешь, то и делаешь. Какую власть дает взгляд сверху на людишек, которые бредут по тротуару, не подозревая, что взяты на заметку; но стоит тебе вытянуть руку — и кому-нибудь на нос опустится паук твоей пятерни, а на голову — пелена ужаса.

Закончив мыть руки, он принялся вытирать их полотенцем.

Впрочем, у всякой игры бывает конец. Когда водящий нашел всех, кто прятался, и каждый в свой черед уже отводил, выкрикивая твое имя, но так и не добравшись до твоего укрытия, это придает тебе еще больше власти и превосходства. «Эй! Эй! Ты где? Выходи, мы больше не играем!»

Но ты не выходишь, даже не шевелишься. Пусть все они собрались под твоим деревом, пытаясь разглядеть тебя сквозь крону, и вызывают: «Эй! Спускайся! Хватит придуливаться! Эй! Мы тебя видим. Мы знаем, ты здесь!»

Тут главное — не отвечать, помалкивать до тех самых пор, пока не случится неотвратимое. За тридевять земель, в соседнем квартале, зальется серебряный свисток, и материнский голос позовет тебя по имени, а потом — опять свисток.

— Девять часов! — протяжно кричит этот голос. — Девять часов! Домой!

Но ты дожидаясь, чтобы сначала разошлись все остальные. И только после этого, осторожно расправляя крылья, высвобождая тепло и тайну, бежишь домой темными закоулками, стараешься не дышать и сдерживать удары сердца — если кто и услышит, пусть думает, что это ветер играет опавшим листком. А мама уже стоит на крыльце, и дверь распахнута настежь.



Он высушил руки о полотенце.

С минуту постоял, прикидывая, как прошли в городе последние два года. Давняя игра не окончилась, только играл в нее он один: приятели разъехались кто куда, остепенились, вступив в пору зрелости, а он все прячется, но водящим сделался теперь весь город, который смотрит и не видит, а потом идет домой и запирается на засов.

Но этим вечером, как часто случалось в последнее время, до него донесся знакомый звук: трель серебряного свистка, неумолчная, неумолчная. Определенно, это была не птичья трель — он слишком хорошо знал все переливы. Свисток звал и звал, а голос вторил: «Домой. Девять часов», хотя время давно перевалило за полночь. Он прислушался. Опять этот серебряный свисток. А ведь мать умерла много лет назад, но прежде загнала в могилу отца своим языком и нравом. «Сделай то, сделай это, сделай то, сделай это, сделай то, сделай это...» Как заезженная пластинка, повторяющая надтреснутым голосом одно и то же, одно и то же, одно и то же, тем же тоном, круг за кругом, круг за кругом, и опять, опять, опять.

И вот — чистая трель серебряного свистка, и окончена игра в прятки. Он больше не бегал по городу, не прятался за деревьями и кустами, нико-

го не слепил улыбкой, прожигающей самую плотную крону. Жил как заведенный. Ноги несли его сами по себе, руки сами совершали движения, и он знал все, что неминуемо должно произойти.

Руки ему не принадлежали.

Он оторвал пуговицу от пиджака, и она провалилась в глубокий, темный колодец комнаты. Но удара о дно не последовало. Пуговица плыла вниз. Он ждал.

Казалось, этому падению не будет конца. Но вот она остановилась.

Руки ему не принадлежали.

Он вынул из кармана трубку и швырнул туда же, в глубины комнаты. Не дожидаясь удара о пустоту, он тихо вернулся тем же путем на кухню и сквозь развевающиеся перед открытым окном белые занавески внимательно осмотрел следы, которые оставил снаружи.

Сейчас он водил, искал, а не прятался, не таился. Он был осторожной ищейкой, которая вынюхивает, проверяет, отбрасывает лишнее, а те следы были ему чужды, как знаки доисторической эпохи. Их оставил миллион лет назад кто-то другой, по другому поводу; они его не касались ни в коей мере. При лунном свете они поражали четкостью и глубиной. Высунувшись из окна, он почти дотронулся до этих отпечатков, как до вели-

кой и прекрасной археологической находки! Потом он прошел через те же комнаты, на ходу оторвал клочок ткани от обшлага брюк и сдул его с открытой ладони, как бабочку.

Руки перестали быть его собственными руками; тело тоже перестало быть его собственным.

Открыв входную дверь, он вышел на крыльцо и ненадолго присел на перила. Допил остатки лимонада, нагретого вечерним ожиданием, и крепко сдавил пальцами стакан, крепко, крепко, очень крепко. И только после этого опустил стакан на перила.

Серебряный свисток!

Вот оно! — подумалось ему. Близится. Близится.

Серебряный свисток!

Вот оно, думалось ему. Девять часов. Домой. Домой. Девять часов. Уроки, молоко с печеньем, прохладные белые простыни, домой, домой, девять часов, серебряный свисток.

Он резко сошел с крыльца и побежал — неслышно, легко, словно босиком; ни дыхания, ни стука сердца, как бежит лишь тот, кто весь — листья и зеленая июньская трава, и ночь, и сумрак; этот вечный бег уводил его прочь от притихшего дома, через дорогу, и дальше, в овраг...

---

Широко распахнув дверь, он шагнул в закусочную «Сова», которая занимала длинный, снятый с рельсов железнодорожный вагон, приговоренный влачить одинокое существование в центре городка. Внутри было пусто. Стоявший за дальним концом стойки буфетчик наблюдал, как захлопнулась дверь, впустив посетителя, и как тот проследовал вдоль ряда пустых вращающихся стульев. Буфетчик вынул изо рта зубочистку:

— Том Дилон, старый чертяка! Чего тебе надо в такое время?

Даже не заглянув в меню, Том Дилон сделал заказ. Пока его не обслужили, он бросил пять центов в щель телефонного аппарата, висевшего на стене, набрал номер и приглушенно заговорил. Потом вернулся, сел за стойку, прислушался. Через шестьдесят секунд они с буфетчиком услышали вой полицейский сирены; машина неслась на предельной скорости.

— Мать честная! — воскликнул буфетчик. — Хватайте всех злодеев, ребята! — Он поставил перед посетителем высокий стакан с молоком и тарелку с шестью свежими крекерами.

Том Дилон долго молчал, украдкой поглядывая на рваный отворот брюк и грязные ботинки. Свет в закусочной был холодным и ярким, как огни театральная сцены. Сжимая в руке высокий про-

хладный стакан, он с закрытыми глазами прихлебывал молоко и разжевывал пшеничные крекеры в вязкую массу.

— Как по-твоему, это сытный ужин? — тихо спросил он.

— Я бы сказал, это весьма и весьма сытный ужин! — усмехнулся буфетчик.

Том Дилон методично прожевал следующий крекер, набив рот вязким месивом. Теперь это лишь вопрос времени, подумал он, ожидая.

— Еще молока?

— Давай,— ответил Том.

Он с неподдельным интересом и полной сосредоточенностью наблюдал, как наклонился, поблескивая гляncем, картонный пакет, как из него побежало белоснежное молоко, прохладно-спокойное, точно родник в ночи, и заполнило стакан до краев, до самых краев, и через край...

## *От греха моего очисти меня*

В сочельник, когда время близилось к двенадцати, отец Меллон задремал, но через несколько минут проснулся. У него возникло совершенно необъяснимое желание встать, подойти к парадным дверям и распахнуть их настежь, чтобы впустить внутрь церкви снег, а потом проследовать в исповедальню и ждать.

Ждать чего? Кто знал? Кто смог бы ответить? Но стремление было настолько сильным, что ему невозможно было противиться.

— Что происходит? — одеваясь, пробормотал он себе под нос. Не иначе как я умом тронулся! Кому в такой час придет в голову отправиться в церковь, хоть по своей, хоть по чужой воле? С какой стати я должен...

Несмотря ни на что, он надел свое облачение, спустился вниз и, распахнув двери, замер в благо-

говении перед великим произведением искусства, открывшимся его взору, — этот вид поражал сильнее, чем живописное полотно: снежное кружево украсило крыши, занавесило фонари, накрыло чехлом прижавшиеся к тротуару автомобили, словно жаждущие благословения. Летящие через порог снежинки холодили его веки и сердце. Он затаил дыхание, упиваясь этой изменчивой красотой, потом отступил назад и удалился в исповедальню, а снежинки, кружась, устремились за ним.

Форменный болван, ругал он себя. Совсем спятил, старик. Нечего тебе здесь делать! Ложись в постель!

Но тут до его слуха донесся какой-то шум: вошедший замешкался у дверей, по каменным плитам застучали шаги, а вслед за тем послышался влажный шорох, но сам нарушитель покоя еще не появился за перегородкой исповедальни. Отец Меллон выжидал.

— Исповедуйте меня, отец, — прошептал чей-то голос, — ибо я грешен!

Не в силах поверить, что в такой час таинство и впрямь оказалось кому-то нужным, отец Меллон только и сказал:

— Как ты узнал, что церковь открыта и я готов тебя выслушать?

— Я молился, отец,— слышался тихий ответ.— Господь сделал так, чтобы вы пробудились и открыли церковь.

На это нечего было возразить, и тогда старый священник и тот человек с хриплым голосом грешника замерли в долгом холодном молчании; стрелки часов между тем приближались к полуночи, и в конце концов незнакомец, явившийся из тьмы, повторил:

— Исповедуйте меня, грешного, отец!

Но вместо обычных исцеляющих слов отец Меллон, ощущая, как с каждой снежинкой близится Рождество, склонился к зарешеченному окошку и невольно произнес:

— Должно быть, на тебе воистину лежит тяжелое бремя греха, коль скоро ты вышел из дому в такую ночь, чтобы исполнить невозможное, которое оказалось возможным только благодаря тому, что Господь тебя услышал и поднял меня с постели.

— Грехи мои постыдны, отец, и вы сами в этом убедитесь!

— Тогда говори, сын мой,— сказал священник,— пока мы оба не окоченели...

— Дело было так,— зашелестел печальный голос за тонкой перегородкой.— Шестьдесят лет тому назад...



— Говори громче! Шестьдесят лет назад?! — Священник открыл рот от удивления. — Так давно?

— Шестьдесят! — Последовала мучительная пауза.

— Продолжай, — сказал священник, укоряя себя за прерванную исповедь.

— Ровно шестьдесят лет назад, когда мне было двенадцать, — говорил все тот же грустный голос, — в такую же святочную неделю мы с бабушкой отправились за рождественскими покупками. Жили мы тогда в маленьком городке на восточном побережье. В магазины и обратно ходили пешком... В те времена и машин-то не было, так ведь? Мы брели нога за ногу, нагруженные подарочными свертками, и бабушка сделала мне какое-то замечание — уж не помню точно, какими словами, только я разозлился и убежал вперед, просто взял да и убежал. Издали я слышал, как она меня звала, потом кричала, кричала что есть мочи, чтобы я вернулся, вернулся к ней, но я — ни в какую. Она плакала в голос, я знал, что она мучается, и это меня подстегнуло, раззадорило, я захохотал и побежал еще быстрее. Домой, конечно, примчался первым, а когда она, едва дыша, появилась в дверях, ее сотрясали рыдания, которым, казалось, не будет конца. Мне стало стыдно, и я спрятался...

Воцарилось долгое молчание.

Священник пришел на помощь:

— Это все?

— Перечень длинный,— скорбно произнес голос за тонкой стенкой.

— Продолжай,— с закрытыми глазами сказал священник.

— Точно так же я поступил с матерью, причем перед Новым годом. Чем-то она мне досадила. Я убежал и слышал, как она кричит мне вслед. Но я только ухмыльнулся и припустил во все лопатки. Зачем? Зачем, боже мой, зачем?

Священник не нашелся, что ответить.

— Теперь все? — помолчав, спросил он вполголоса, странно взволнованный чужим признанием.

— Однажды летом,— продолжал голос,— какие-то хулиганы меня избили. Когда они ушли, я увидел на ветке кустарника двух бабочек, нежно трепетавших бок о бок. От их безмятежности меня захлестнула злоба. Я прихлопнул их ладонью и растер в порошок. Отец, какой стыд!

В церковь сквозь открытые двери ворвался ветер: оба повернули головы и увидели снежное рождественское привидение, которое возникло на пороге и тут же рассыпалось белыми хлопьями по каменным плитам.

— Был еще один скверный случай, когда мне стукнуло тринадцать,— опять заговорил старик, преодолевая стыд, но все же нашел в себе силы продолжать,— и тоже в канун Рождества. У меня пропал пес по кличке Бо — убежал и не возвращался трое суток. Я любил его больше жизни. Пес был необыкновенно умен и платил мне бесконечной привязанностью. И вдруг мой питомец исчез, и все хорошее исчезло вместе с ним. Я ждал. Плакал. Снова ждал. Молился. Беззвучно кричал. Я знал: он никогда, никогда не вернется! Но потом, потом, в два часа ночи, когда за окном валил мокрый снег, на дорогах чавкала слякоть, а на карнизах таяли сосульки, во сне я услышал какой-то совсем другой звук, проснулся и понял, что это пес скребется под дверью! Я вскочил с кровати как сумасшедший, чуть не сломал шею. Дернул ручку двери — и на пороге увидел моего несчастного Бо: он был весь в грязи, дрожал от холода, но лучился радостью. Я завопил от счастья, втащил его в дом, захлопнул дверь, упал на колени, прижал его к себе и разревелся. Какой подарок, какой это был подарок! Я снова и снова называл его по имени, а он подвывал мне в тон — это были голоса муки и счастья. А потом я умолк. Знаете, что за этим последовало? Можете представить всю мерзость моего поступка? Я избил его. Да-да, избил.

Молотил его кулаками, костяшками пальцев, ладонями, и снова кулаками, а сам кричал: будешь знать, как уходить без спросу, будешь знать, как убегать, будешь знать, как не слушаться, как ты посмел, как посмел?! И я истязал его до тех пор, покуда он не заскулил, и только тогда до меня дошло, что я делаю. А он это безропотно сносил, словно понимал, что оказался недостойным моей любви; но теперь недостойным оказался я, тогда я его оттолкнул и залился слезами; задыхаясь, я снова обхватил его за шею, прижал к себе и закричал прости, пожалуйста, Бо, прости меня. Я не хотел. Бо, прости...

Но разве мог он меня простить, отец? Кто он был? Бессловесное существо, животное, пес, мой любимец. И он смотрел на меня такими прекрасными черными глазами, что у меня сжалось сердце, и с тех пор оно навеки замкнулось от стыда. Я так и не смог себя простить. С тех пор меня преследует память о моей любимой собаке и о моей собственной низости. Под Рождество, не просто в последние дни уходящего года, а именно в канун Рождества, передо мной возникает призрак моего пса. Я его вижу, слышу шлепки и удары, терзаюсь чувством вины. О боже мой!

Незнакомец умолк и содрогнулся от рыданий.

В конце концов старый священник вымолвил:

— Так вот почему ты здесь?

— Да, отец. Разве это не ужасно? Разве это не позор?

Священник не сумел ответить: у него тоже текли слезы и срывалось дыхание.

— Господь простит меня, отец? — спросил старик.

— Да.

— А вы, отец?

— Да. Но позволь кое-что тебе рассказать, сын мой. Когда мне было десять лет, со мной произошло то же самое. Точно так же я поступил с родителями, потом так же поступил и с моей собакой, которую любил больше всех на свете, но она убежала, и меня охватила ненависть, а когда она вернулась, я тоже гладил ее, и бил, и снова начинал гладить. До этой ночи я не рассказывал об этом ни одной живой душе. Все эти годы меня обжигал стыд. Я регулярно исповедовался своему духовнику. Но об этом молчал. Так что теперь...

Наступило молчание.

— О чем вы, отец?

— Господь, Господь, милый человек, Господь Бог простит нас. Наконец-то мы открылись, осмелились рассказать все. Что до меня — я тоже прощу тебя. Но напоследок...

Старый священник не договорил: его душили слезы.

Незнакомец все понял и осторожно спросил:  
— Отец, вы хотите получить *мое* прощение?

Священник молча кивнул. Возможно, его собеседник уловил тень от кивка, поскольку он тут же заверил:

— Вы его получили!

И они оба долго сидели в темноте, а в дверях появился еще один призрак, который, впрочем, тут же смешался со снегом и исчез.

— Прежде чем уйти,— сказал священник,— выпейте со мной вина.

Огромные часы на башне, против церкви, начали отбивать время.

— Вот и Рождество, отец,— сказал голос из-за перегородки.

— Определенно, это лучшее Рождество в моей жизни.

— Самое лучшее.

Старик священник поднялся со стула.

Он ждал шороха или хоть какого-нибудь движения за перегородкой.

Но оттуда не донеслось ни звука.

Нахмурившись, священник распахнул дверцу и всмотрелся в каморку для исповеди.

Внутри не было никого и ничего.

У него отвисла челюсть. Снежинки падали ему за ворот.

Он вытянул руку и ощупал темноту.

Там было пусто...

Обернувшись, он уставился на входную дверь, а потом поспешил выглянуть на улицу.

Снег кружил в последних отзвуках боя курантов. Улицы давно опустели.

Когда он вернулся и затворил двери, его внимание привлекло высокое зеркало при входе.

В холодном отражении он узнал старого знакомого, самого себя.

Почти не задумываясь, он поднял руку и осенил его крестным знамением. Отражение в зеркале сделало то же самое.

Осушив слезы, старый священник отвернулся и пошел за вином.

На улице вместе со снегом кружилось Рождество.

## *По уставу*

— Рота, смирно!

Щелк.

— Вперед — *шагом марш!*

Топ. Топ.

— Рота, стой!

Топ, бух, стук.

— Равнение напра-во.

Шепот.

— Равнение нале-во.

Шорох.

— Кру-гом!

Топ, шарк, бух.

Давным-давно под лучами палящего солнца один человек в полный голос отдавал приказы, а рота их выполняла. Летом пятьдесят второго под небом Лос-Анджелеса, у бассейна, что рядом с



отелем, стоял сержант-инструктор, и там же выстроилась его рота.

— Равнение на середину! Выше голову! Подбородок убрать! Грудь вперед! Живот втянуть! Плечи расправить, черт побери, *расправить плечи!*

Шорох, шепот, шелест, шаг. Тишина.

И сержант-инструктор, раздетый до трусов, идет вдоль кромки бассейна, сверля водянисто-холодным взглядом свою роту, свою команду, свою часть — своего...

Сына.

Мальчик лет девяти или десяти стоял по струнке, смотрел по-военному в никуда, плечи держал ровно, будто накрахмаленные, а отец, чеканя шаг, ходил кругами, лающим голосом выкрикивал команды, склонялся над мальчишкой и давал жесткие указания. Оба — и отец и сын — были в плавках, минуту назад они убирали территорию, раскладывали полотенца, драили кафель. Но теперь время близилось к полудню.

— Рота! По порядку номеров рассчитайсь! Первый, второй!

— Третий, четвертый! — выкрикивал мальчик.

— Первый, второй! — громко кричал отец.

— Третий, четвертый!

— Рота, стой! На плечо! Целься! Подбородок на себя, носки в линию, выполняй!

Воспоминания замелькали, как старая пленка в допотопной киношке. Откуда они пришли, эти воспоминания, и почему?

Я ехал на поезде из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Время было позднее, я пошел в вагон-ресторан и оказался там в одиночестве, если не считать бармена и еще какого-то пассажира, то ли молодого, то ли старого, который сидел через проход от меня и пил уже вторую порцию мартини.

Он и навел воспоминания.

Эти волосы, лицо, испуганные, затравленные голубые глаза, находящиеся в нескольких футах от меня, внезапно остановили течение времени, перебросив меня в прошлое.

То отчетливо, то расплывчато я видел себя в вагоне поезда, а потом сразу — возле кромки бассейна, видел светлый, исполненный боли взгляд этого человека, сидящего рядом, — и сквозь три десятка лет слышал голос его отца, а уж вернувшись в прошлое на те же пять тысяч дней, не сводил глаз с его сына, который выполнял повороты кругом и вполоборота, замирал как вкопанный, вскидывал воображаемую винтовку, брал на караул, целился.

— Смирно! — рявкал отец.

— Смирно! — эхом вторил сын.

— Будет ли этому конец? — прошептал Сид, мой лучший друг, который загорал рядом со мной

под жарким солнцем, следя глазами за происходящим.

— В самом деле,— тихо поддакнул я.

— Сколько времени это длится?

— Как видно, не один год. Похоже на то. Долгие годы.

— Ать, два!

— Три, четыре!

Башенные часы неподалеку пробили полдень; в это время у бассейна начинал работать летний бар.

— Рота... *шагом марш!*

Двое, мужчина и парнишка, маршем направились по мощеной дорожке к полузапертым воротцам.

— Рота, стой. Слушай мою команду! Открыть засовы! Делай!

Мальчик поспешно отодвинул засовы.

— Делай!

Он распахнул створки, отпрыгнул назад, выпрямился в ожидании.

— Кру-гом, вперед, шагом марш!

Дошагав до самой кромки бассейна, мальчишка едва не свалился в воду; тогда отец с кривой ухмылкой приглушенно скомандовал:

— ...стой.

Сын пошатнулся.

— Черт,— прошептал Сид.

Отец оставил сына у воды, негнувшегося, как скелет, и прямого, как флагшток, а сам куда-то ушел.

Сид неожиданно вскочил, не отрываясь от этого зрелища.

— Куда? — одернул я.

— Мать честная, неужели он заставит ребенка стоять столбом?!

— Не дергайся, Сид.

— Да ведь это издевательство!

— Не лезь на рожон, Сид,— сказал я вполголоса.— Это ведь не твой сын, верно?

— Верно! — сказал Сид.— Черт побери!

— Из этого не выйдет ничего хорошего.

— Нет, выйдет. Сейчас найду этого...

— Посмотри, Сид, какое у мальчишки *лицо*.

Взглянув на мальчика, Сид весь сжался.

Парнишка, стоящий в ослепительном блеске солнечных лучей и воды, был горд. В том, как он держал голову, в том, как горели его глаза, как его обнаженные плечи вынесли бремя понуканий и придировок,— во всем сквозила гордость.

Именно эта оправданная гордость заставила Сиду отступить. Придавленный какой-то безнадежностью, он опустился на колени.

— Неужели мы так и будем сидеть сложа руки и смотреть на эту идиотскую игру.— Сам того не замечая, Сид перешел на крик: — «Делай раз, делай два»?

Отец мальчика это услышал. Складывая полотенца в стопку, он замер у дальнего конца бассейна. Мышцы спины заиграли, как шары в автомате, набирающем очки. Он резко повернулся, прошел мимо своего сына, который до сих пор стоял по струнке в сантиметре от края бассейна, кивнул ему, выказывая хмурое одобрение, а потом приблизился к нам с Сидом и накрыл нас стальной тенью.

— Будьте любезны, сэр, не повышать голос,— приглушенно начал он,— чтобы не сбивать с толку моего сына...

— Еще чего! Я буду говорить так, как сочту нужным! — Сид начал подниматься.

— Нет, сэр, не будете.— Он устремил на Сида острый нос, точно прицелился.— Это мой бассейн, моя земля. У меня договор с хозяевами отеля: их территория заканчивается у ворот бара. Если уж я берусь за дело, то порядки устанавливаю сам. Кто им не подчиняется, того гоню взашей. *В буквальном смысле.* Сходите в спортзал — там на стене мой черный пояс по джиу-джитсу и дипломы с соревнований по боксу и стрельбе. Попробуйте

схватить меня за руку — сломаю вам запястье. Попробуйте чихнуть — сломаю нос. Одно неверное слово — и вашему дантисту обеспечена работа на два года. Рота, смирно!

Он выпалил все это на одном дыхании.

Его сын окаменел на краю бассейна.

— Сорок дорожек! Марш!

— Марш! — выкрикнул мальчик и нырнул в бассейн.

Мальчишеское тело вошло в воду, руки яростно замелькали в воздухе, и это отрезвило Сиду. Он закрыл глаза.

Расплывшись в ухмылке, отец мальчика отвернулся и стал наблюдать, как сын вспенивает воду летнего бассейна.

— Я в его возрасте так не умел, — сказал он. — Джентльмены.

После этого он коротко кивнул и неспешно удалился.

Сиду оставалось только разбежаться и прыгнуть в бассейн. Он проплыл двадцать дорожек. За мальчиком ему было не угнаться. Выбравшись из воды, Сид рухнул на землю, но его лицо больше не горело гневом.

— Готов поспорить, — прошептал он, вытирая лицо полотенцем, — в один прекрасный день мальчишка взбунтуется и прикончит этого гада!

— Как сказано у Хемингуэя,— ответил я, на-  
блюдая за сыном сержанта, отмахавшим тридцать  
пятую дорожку,— этим можно утешаться, правда?

В последний раз, в последний день, когда я  
их видел, отец мальчика пружинисто расхаживал  
у бассейна, вытряхивал пепельницы (в этом деле  
ему не было равных), подвигал столы, выстраи-  
вал в шеренгу кресла и шезлонги, раскладывал на  
скамейках свежие полотенца безупречными, ма-  
тематически выверенными стопками. Даже в том,  
как он драил кафель, была какая-то геометриче-  
ская точность. Он чеканил шаг, без усталости по-  
правлял и передвигал все, что возможно, и лишь  
изредка поднимал голову и стрелял взглядом, же-  
лая убедиться, что его отряд, его взвод, его рота  
часами стоит без движения по стойке «смирно» и  
чем-то напоминает флажок на мачте: волосы раз-  
веваются на летнем ветру, взгляд устремлен за го-  
ризонт, губы сжаты, подбородок вниз, плечи рас-  
правлены.

Я ничего не мог с собой поделаться. Сид уже дав-  
но уехал по делам. А я оккупировал гостиничный  
балкон с видом на бассейн, допивал последнюю  
порцию спиртного и неотрывно смотрел, как отец  
расхаживает туда-сюда, а сын стоит без движения,  
будто идол. Когда стало смеркаться, отец разма-

шистым шагом направился к забору и, словно опомнившись, гаркнул через плечо:

— Смирно! Равняйся! Первый, второй...

— Третий, четвертый! — выкрикнул сын.

Мальчик строевым шагом прошел через калитку, и его подошвы стучали по цементу не хуже армейских ботинок. Он направлялся к парковке, а отец бесстрастно щелкнул замком, быстро огляделся, взглянул наверх, заметил меня и помедлил. Его взгляд огнем жег мое лицо. У меня сами собой расправились плечи, опустил подбородок — я даже вздрогнул. Чтобы положить этому конец, я небрежно отсалютовал ему своим стаканом и выпил.

Что же дальше? — думал я. Сын вырастет и прикончит своего старика, или изобьет его до полусмерти, или просто сбежит, искалеченный жизнью, и до конца своих дней будет маршировать по чужой команде, так и не узнав, что такое «вольно»?

Не исключено, размышлял я, отхлебывая из высокого стакана, что у парнишки со временем тоже будут дети, и он точно так же будет орать на них из года в год где-нибудь у бассейна. А может, он просто сунет себе в рот пистолет и таким способом, единственно доступным, убьет отца? А если жена не родит ему сыновей, сумеет ли он похо-



ронить все приказы и команды заодно с сержантами? Вопросы, полуответы, опять вопросы.

Мой стакан опустел. Солнце скрылось, а с ним и отец и сын.

Но теперь один из них вернулся и сидел на расстоянии вытянутой руки от меня, а поезд, следующий в северном направлении, уносил нас в неосвещенную даль. Это был все тот же мальчуган, новобранец, сын того самого отца, который в летнюю жару командовал солнцу, когда взойти и когда закатиться.

Еле выжил? Едва уцелел? Еще в силах?

Поди знай.

Как бы то ни было, он оказался рядом тридцать лет спустя, шагнувший из детства в старость или состарившийся в детстве, и медленно прихлебывал третью порцию martin.

Тут я спохватился, что слишком бесцеремонно сверлю его взглядом. Его ярко-голубые глаза смотрели как-то затравленно, поэтому я не сразу решился на разговор.

— Простите меня,— начал я,— боюсь сказать глупость, но... тридцать лет назад я приезжал на выходные в отель «Амбассадор», где один военный вместе с сыном следил за порядком у бассейна. Он... м-м-м... Вы его сын?

Молодой и в то же время старый человек задумался, осмотрел меня бегающими глазами и наконец слегка улыбнулся.

— Да,— сказал он,— я и есть тот самый сын. Садитесь поближе.

Мы пожали друг другу руки. Пересев к нему за столик, я заказал для нас обоих еще мартини, как будто мы собирались что-то праздновать или оплакивать. Когда бармен поставил перед нами стаканы, я сказал:

— Предлагаю тост — за год тысяча девятьсот пятьдесят второй. Хороший был год? Или плохой год? Все равно — за тот год!

Мы выпили, и этот человек без возраста почти сразу сказал:

— Вы, очевидно, хотите спросить о судьбе моего отца.

— Ох...— выдохнул я.

— Ничего, ничего,— успокоил он меня,— не смущайтесь. Очень многие интересуются, хотя прошло столько лет.

Ребенок в обличье взрослого поглаживал стакан с мартини и вспоминал прошлое.

— И вы отвечаете, когда люди вас спрашивают? — спросил я.

— Отвечаю.

Я собрался с духом:

— Тогда ладно. Что же случилось с вашим отцом?

— Он погиб.

Последовало долгое молчание.

— Это весь ответ?

— Не совсем.— Человек без возраста опустил стакан на стол и развернул салфетку, причем точно под углом к стакану, а потом в самую середину водрузил оливку, словно камешек из прошлого.— Помните, каким он был?

— Вполне живо.

— Как много смысла вы вкладываете в это «живо»! — Человек без возраста слабо усмехнулся.— А помните все эти «вокруг бассейна — шагом марш», «нале-во», «напра-во», «смирно», «не двигаться», «подбородок-живот-убрать!», «грудь вперед», «ать-два!», «делай»?

— Помню.

— Однажды, дело было в пятьдесят третьем, после того как отдыхающие разъехались, и вы вместе с ними, отец муштровал меня на жаре. Заставил целый час простоять на солнцепеке, ругался, брызгал слюной мне в лицо, в глаза, в нос, а сам орал: «Только шевельнись! Только моргни! Только дернись! Не смей дышать, пока я не сказал! Слышишь, солдат? Слышишь? Ты слышишь? Слы-

шишь?!» — «Да, сэр», — выдавил я. Отец развернулся, не устоял на кафельных плитках и упал в воду.

Мальчик-старик помолчал и странно хмыкнул.

— Вы знали? Нет, откуда... Я тоже не знал... что за те долгие годы, пока он брал в аренду бассейны, драил душевые, менял полотенца, чинил трамплины и трубы, он так и не научился — Бог свидетель! — так и не научился плавать! За всю жизнь! Подумать только... За всю жизнь. Он никогда мне в этом не признавался. Я и не подозревал! А поскольку он сам перед тем скомандовал: «Равняйся!», «Не дергаться!», «Не двигаться!» — я так и остался стоять, уставившись на закатное солнце. Даже ни разу не посмотрел вниз. Смотрел только вперед, как было приказано, по уставу... Мне было слышно, как он барахтается и вопит. Но слов я не разбирал. Слышал только, как он ловил ртом воздух, захлебывался, уходил под воду, пронзительно кричал, но я стоял навтыжку, подбородок вверх, живот втянут, взгляд направлен в одну точку, на лбу пот, губы стиснуты, ягодицы сжаты, спина прямая, а он все вопил, кашлял, захлебывался. Я все ждал команды «вольно». Он должен был прокричать «вольно!», однако я этого не дождался. Что мне было делать? Я просто стоял

как истукан, пока не смолкли крики, пока волна не ударилась о бортик бассейна — а потом все стихло. Не знаю, как долго я простоял навывтяжку: минут десять, может, двадцать, полчаса, только мимо проходил какой-то человек, увидел меня, заглянул в бассейн и как закричит: «О господи!» Потом повернулся в мою сторону — а он был из тех, кто знал нас с отцом, — и дал команду «вольно». Только тогда я заплакал.

Он осушил свой стакан.

— Понимаете, я не мог знать наверняка, что он не притворяется. Он и раньше проделывал такие штуки — нарочно, чтобы застать меня врасплох. Бывало, зайдет за угол, выждет, а потом выскочит и смотрит, прямо ли я стою. Или притворится, что идет в уборную, а сам только и думает, как меня уличить. Искал, к чему бы придраться, чтобы потом меня выпороть. В тот раз, стоя у бассейна, я думал, что это очередная хитрость. Вот я и решил подождать, чтобы убедиться... чтобы удостовериться.

Замолчав, он опустил стакан на поднос и откинулся на спинку кресла, погрузившись в собственное молчание и глядя в никуда поверх моего плеча. Выслушав эту историю, я напрасно ждал, что у него навернутся слезы или дрогнут губы.

— Ну вот,— сказал я, выдержав паузу,— теперь мне известна судьба вашего отца. А как сложилась ваша судьба?

— Как видите,— сказал он,— я здесь.

Поднявшись, он протянул на прощанье руку.

— Спокойной ночи,— сказал он.

Глядя ему в лицо, я видел того самого мальчика, который ждал команды пять тысяч дней назад. Потом мой взгляд скользнул по его левой руке: обручального кольца не было. Что это означало? Нет сыновей, нет будущего? Но я не решился спросить.

— Приятно было повидаться,— услышал я свой голос.

## *Вздорные нотки*

Это был самый обычный майский вечер, примечательный только тем, что Джонатан Хьюз, двадцати восьми лет, за неделю до дня рождения встретил свой рок, нагрянувший из другой поры, из другого года, из другой жизни.

Поначалу Джонатан, конечно, ничего не заподозрил, хотя его рок вошел в тот же поезд, отбывающий от Пенсильвания-стейшн, уселся напротив и приготовился ехать через весь Лонг-Айленд. Он явился в обличье старика с газетой в руках — именно газета и привлекла внимание Джонатана Хьюза, который наконец решился обратиться к попутчику:

— Прошу прощения, сэр, но ваш номер «Нью-Йорк таймс» выглядит совсем не так, как мой. Шрифт более современный, что ли. Это, наверно, дополнительный выпуск?

— Нет! — Старик осекся, проглотил застрявший в горле ком и наконец выдавил: — То есть да. Это более поздний выпуск.

Хьюз огляделся по сторонам.

— Еще раз прошу меня простить, но... у других пассажиров газеты одинаковые. Может быть, у вас сигнальный экземпляр, с пристрелкой на будущее?

— На будущее? — Старик едва шевелил губами. Он как-то увял прямо на глазах, будто с выдохом потерял в весе. — В самом деле, — проговорил он, — с пристрелкой на будущее. Как в насмешку, честное слово.

Присмотревшись, Джонатан Хьюз разобрал дату выпуска:

*2 мая 1999 года*

— Как же так?.. — встрепенулся он, но тут глаза выхватили небольшую заметку, помещенную — правда, без фотографии — на первой полосе, в верхнем левом углу:

## УБИЙСТВО ЖЕНЩИНЫ: РАЗЫСКИВАЕТСЯ МУЖ

*Тело миссис Элис Хьюз, убитой из огнестрельного оружия, найдено...*

Поезд грохотал по виадуку. За окном встала гряда деревьев, которая потянулась зелеными ветвями вслед за беспокойным ветром и оборвалась, будто разом срубленная под корень.



А состав как ни в чем не бывало подъехал к очередной станции.

В наступившей тишине молодой пассажир поневоле вернулся к газетному тексту:

*Джонатан Хьюз, дипломированный аудитор, проживающий в г. Плэндом по адресу: Плэндом-авеню, дом 112...*

— Нет! — вскричал он. — Сгинь, сгинь!

Он вскочил и побежал назад по проходу, а старик даже не успел пошевелиться. Поезд рывком тронулся, и Джонатана Хьюза бросило на свободное сиденье, откуда он безумным взглядом уставился на реку света и зелени, проносившуюся за окном.

Господи, думал он, кому могла понадобиться эта затея? Кто пытается причинить нам зло? *Нам!* Это розыгрыш? Кому пришло в голову глумиться над их молодой семьей, над его прелестной женой? Проклятье! Его затрясло. Чертовщина, просто чертовщина!

На повороте он чуть не упал. Опьянев от тряски, ужаса и холодной ярости, он резко развернулся и бросился к старику, который загородился газетой, втянул голову в плечи, спрятался за печатным словом. Хьюз одним махом смял газету и вцепился в костлявое плечо. Старик в испуге поднял

голову: из глаз текли слезы. Под стук колес оба замерли. Хьюз чувствовал, что его душа готова расстаться с телом.

— Кто вы такой?

Он не узнал собственный голос.

Поезд метался из стороны в сторону — казалось, он вот-вот сойдет с рельсов.

Старика подбросило, как от выстрела в самое сердце. Он не глядя сунул в руку Хьюза кусочек картона и, пошатываясь, перешел в соседний вагон.

Джонатан Хьюз разжал кулак и увидел визитную карточку; пришлось ее перевернуть, чтобы прочесть несколько слов, которые пригвоздили его к сиденью и долго не отпускали.

## ДЖОНАТАН ХЬЮЗ

Аудиторские услуги

Плэндом, 679-4990

— Нет! — вскричал все тот же, ставший чужим голос.

«Да ведь это я, — подумал молодой пассажир. — Выходит, этот старик... и есть я».

Не иначе как здесь заговор, причем не один. Кто-то придумал розыгрыш с убийством и выбрал мишенью его, Хьюза. Поезд с ревом неся впе-

ред, а пять сотен пассажиров раскачивались, как подвыпившие резонеры, прячась за спасительными книжками и газетами, лишь один старик, будто гонимый демонами, перебирался из тамбура в тамбур. Когда Джонатан Хьюз, кипя от злости, окончательно вышел из себя, старик ввалился в последний вагон.

Там они и встретились, почти без свидетелей. Джонатан Хьюз грозно навис над стариком, а тот не решался поднять голову. Да и то сказать, слезы текли у него в три ручья, поэтому на беседу рассчитывать не приходилось.

«Кого же, — подумал молодой Хьюз, — кого он оплакивает? Ну, будет, будет».

Словно по команде старик расправил плечи, осушил глаза, высморкался и заговорил едва слышным голосом, так что Джонатану Хьюзу пришлось наклониться поближе, а потом и присесть рядом.

— Мы с тобой родились...

— Мы? — не поверил своим ушам молодой собеседник.

— Мы, — шепотом подтвердил старик, вглядываясь в пепельно-дымные сумерки, летящие за окном. — Да-да, мы с тобою оба родились двадцать второго августа тысяча девятьсот пятидесятого года в городе Куинси...

«Точно», — подумал Хьюз.

— ...жили в доме номер сорок девять по Вашингтон-стрит и учились в Центральной гимназии, куда в первом классе бегали по утрам вместе с Изабель Перри.

«Вместе с Изабель», — повторил про себя молодой Хьюз.

— Мы... — забормотал старик. — Наши... — прошептал он. — Нам... — И наконец собрался с мыслями. — Столярное дело у нас вел мистер Бисби. Историю — мисс Манкс. В возрасте десяти лет мы пошли на каток и повредили правую коленку. В одиннадцать лет чуть не утонули — на счастье, подоспел отец. В двенадцать влюбились: ее звали Импи Джонсон.

«В седьмом классе, славная была девчушка, но умерла в юности, упокой Господи ее душу», — мысленно подхватил молодой Хьюз, на глазах старея.

Происходило это так. Старик говорил минуту, две, три — и с каждой минутой молодец: щеки заливал румянец, в глазах появлялся блеск, а его молодой попутчик, придавленный грузом давних воспоминаний, все больше съеживался и бледнел, так что в середине сказанного и услышанного они на время стали похожи, как две капли воды. В какой-то миг Джонатан Хьюз проникся твердой, бе-

зумной уверенностью, что в окне, как в зеркале летящего вечернего мира, отражается пара близнецов — стоит только поднять глаза.

На это ему не хватило духу.

А старик распрямил спину, высоко поднял голову — и все благодаря своим воспоминаниям и забытым откровениям.

— Таково прошлое, — подытожил он.

«Избить бы его до полусмерти, — думал Хьюз. — Обвинить во всех смертных грехах. Оглушить криком. Почему же я не бью, не виню, не кричу?

Да потому...»

Угадав этот вопрос, старик проговорил:

— Теперь ты знаешь: я именно тот, за кого себя выдаю. О нас обоих мне известно все без исключения. Итак, перейдем к будущему?

— К моему?

— К нашему общему, — сказал старик.

Джонатан Хьюз кивнул, не сводя глаз с газеты, которую попутчик все еще сжимал в правой руке. Тогда старик свернул ее и переложил в другую руку.

— Твои дела мало-помалу придут в упадок. По какой причине — да кто ж его знает? Ты станешь отцом, но ребенок умрет во младенчестве. Заведешь любовницу, но она тебя бросит. У жены ис-

портится характер. И в конце концов — поверь, приготовься к этому, — ты начнешь... как бы это сказать... тяготиться ее присутствием в твоей жизни. Ну-ну, ты, я вижу, совсем пал духом. Все, молчу.

Они долго сидели, не произнося ни звука; старик снова стал набирать года, а вместе с ним и молодой собеседник. Достигнув достаточно зрелых лет, молодой кивнул, давая старику знак продолжать, а сам отвел глаза.

— Сейчас это кажется невероятным, ведь вы женаты всего лишь год, первый год, самый счастливый. Трудно представить, как может капля чернил замутить целый кувшин родниковой воды. Однако может — и уже замутила. А в результате переменялся весь мир — что уж говорить о нашей жене, о нашей красавице, о прекрасной мечте.

— Ты... — вырвалось у Джонатана Хьюза. — Ты... ее убил?

— Нет, это мы ее убили. Мы оба. Но если ты ко мне прислушаешься, если я смогу тебя убедить, она останется в живых, и ты встретишь старость в покое и счастье, не так, как я. Буду за это молиться. Буду проливать слезы. Время еще есть. С годами нужно встряхнуться, обуздать свои страсти, привести в порядок мысли. Боже, если бы люди

понимали, что значит убить. До какой же степени это бессмысленно, глупо... безобразно. Но еще теплится надежда — как-никак я до тебя дошел, достучался, обозначил перемены, которые принесут спасение нашим душам. Слушай меня внимательно. Понял ли ты, что мы с тобой, встретившиеся в этом поезде, составляем одно целое, пару близнецов из разных времен?

Паровоз издал протяжный гудок, разметая нагромождение лет. Молодой пассажир кивнул, но так робко, что невооруженным глазом было не различить. Впрочем, старик довольствовался и этим.

— Я сбежал,— выговорил он.— Сбежал к тебе. Больше ничего сказать не могу. Она умерла вчера, и я сразу сбежал. Куда мне идти? Спрятаться негде, разве что во Времени. Там, где нет ни обвинителей, ни судей, ни присяжных, да и свидетелей настоящих нет — только ты. Тебе одному под силу смыть с меня кровь, понимаешь? Выходит, ты сам меня притянул. Твоя молодость, непогрешимость, безоблачная пора, ничем не омраченная жизнь — вот та сила, которая увлекла меня в путь. Мой рассудок — в тебе. Не дай бог тебе вернуться — тогда ты пропал. Мы оба пропали. Сойдем в одну могилу и больше не поднимемся, обречем себя на вечные муки. Хочешь, скажу, как ты должен поступить?

Молодой Хьюз поднялся с места.

— Плэндом! — пронеслось по вагону. — Плэндом!

Они вышли на перрон: старый человек семенил позади молодого, который ринулся вперед на непослушных ногах, натыкаясь на стены и толкая прохожих.

— Не так быстро! — умолял старик. — Прошу тебя, помедленнее!

Молодой словно не слышал.

— Как ты не понимаешь, мы оба в этом замешаны, надо подумать вместе и принять решение, чтобы ты не превратился в меня, чтобы мне не пришлось к тебе пробираться дорогами кошмаров — ох, это просто безумие, бред, я знаю, знаю, но ты хотя бы выслушай!

Джонатан Хьюз остановился у выхода с перрона, куда подъезжали машины, — там звучали радостные возгласы и сдержанные приветствия, гудели клаксоны, чихали моторы, уносились в ночь огни фар. Старик схватил его за локоть:

— Подумай: твоя жена... моя жена... с минуты на минуту будет здесь, а я еще не сказал и половины, ведь тебе не дано знать того, что знаю я — двадцать лет нераскрытых тайн, которыми необходимо поделиться и обменяться! Да ты меня не слушаешь! Господи, ты мне не веришь!



Молодой Хьюз не сводил глаз с мостовой. Вдали показалась последняя, запоздалая машина. Тут он спросил:

— А что произошло на чердаке в бабушкином доме летом пятьдесят восьмого? Об этом не знает ни одна живая душа, кроме меня. Ну?

Старик понурился. Переведя дыхание, он заговорил как по писаному:

— Мы прятались на чердаке двое суток. Никто не знал, где нас искать. Все думали, что мы побежали топиться в озере или бросились в реку. А мы в это время затаились под крышей и горько плакали, считая себя никому не нужными... слушали завывания ветра и хотели только одного — умереть.

Теперь молодой Хьюз развернулся и, не скрывая слез, в упор посмотрел на свое постаревшее отражение.

— Значит, ты меня любишь?

— А как же иначе? — отозвался старик. — Ведь я — единственное, что у тебя есть.

Машина подкатила к вокзалу. Улыбчивая молодая женщина помахала из-за ветрового стекла.

— Не тяни, — вполголоса сказал старик. — Давай-ка я поеду с тобой, осмотрюсь, посоветую, может, чему-то научу, что неладно — подправлю,

глядишь, и подарю тебе счастливую жизнь на долгие годы. Решайся...

Машина остановилась и посигналила, женщина высунулась из окна:

— Привет, мой красавчик!

Джонатан Хьюз расхохотался и как безумный бросился к машине:

— Привет, моя красавица!.. Одну минутку.

Оглянувшись, он бросил взгляд на дрожащего старика с газетой, который остался стоять у вокзала. Тот сделал вопрошающий жест:

— Ты, часом, ничего не забыл?

Молчание. А потом:

— Тебя,— произнес Джонатан Хьюз.— Я забыл тебя.

В темноте машина круто развернулась. Женщину, ее молодого мужа и старика качнуло в одну сторону.

— Простите, не расслышала: как вас зовут? — спросила женщина сквозь шум двигателя, не снижая скорости.

— Он еще не представился,— встрял Джонатан Хьюз.

— Уэлдон,— произнес старик, часто моргая.

— Надо же! — удивилась Элис Хьюз.— Это моя девичья фамилия.

Старик еле слышно ахнул, но тут же взял себя в руки:

— Да что вы говорите?! Любопытное совпадение!

— Может, мы с вами состоим в родстве? Вы...

— Он был моим учителем в Центральной гимназии,— пришел на выручку Джонатан Хьюз.

— И по сей день учу молодых,— сказал старик,— по сей день.

Но они уже подъехали к дому.

Старик озирался вокруг. За ужином, совсем забыв о еде, он не сводил глаз с миловидной женщины, сидевшей напротив. Джонатан Хьюз спокойно ерзал, слишком много и оживленно говорил, чтобы заполнить неловкие паузы, и тоже почти ничего не ел. А старик все смотрел перед собой, словно у него на глазах одно чудо сменялось другим. Он разглядывал губы молодой жены, будто с них слетали алмазные россыпи. Заглядывал ей в глаза, будто найдя в них источник житейской мудрости, доселе неведомой. Судя по выражению лица, старик был настолько изумлен, что уже не помнил, с какой целью сюда явился.

— У меня что, подбородок измазан? — не выдержала Элис Хьюз.— Почему вы оба на меня так смотрите?

Тут у старика, ко всеобщему замешательству, хлынули слезы. Казалось, он никогда не успокоится, и в конце концов Элис, встав из-за стола, подошла к нему и тронула за плечо.

— Извините,— выдавил он.— Вы так прелестны... Сделайте милость, сядьте. Простите меня.

После десерта Джонатан Хьюз демонстративно отложил вилку, отер рот салфеткой и воскликнул:

— Фантастический ужин! Милая женушка, я тебя обожаю! — Он поцеловал ее в щеку, помедлил и поцеловал еще раз — в губы.— Видите? — обратился он к старику.— Я *очень* люблю свою жену.

Старик неспешно кивнул:

— Как же, как же, помню.

— Помните? — уставилась на него Элис.

— У меня тост! — поспешил вмешаться Джонатан Хьюз.— За мою прекрасную жену и счастливое будущее!

Жена рассмеялась и подняла бокал.

— Мистер Уэлдон,— спросила она, выдержав паузу,— вы не хотите за это выпить?..

Когда мужчины переходили в гостиную, старик повел себя непостижимым образом.

— Смотри.— На пороге он закрыл глаза и начал безошибочно двигаться по комнате.— Вот здесь —

коллекция трубок, здесь — книжный шкаф. На четвертой полке снизу — Герберт Уэллс, «Машина времени», прямо как по заказу; а сейчас я сяду в любимое кресло.

Он устроился поудобнее. И только теперь открыл глаза.

Стоя в дверях, Джонатан Хьюз спросил:

— Больше не будешь лить слезы?

— Нет. Больше не буду.

На кухне позвякивали тарелки. Молодая жена мыла посуду, мурлыча какую-то песенку. Мужчины повернули головы в сторону кухни.

— Стало быть,— заговорил Джонатан Хьюз,— скоро я возненавижу ее? А потом убью?

— Трудно поверить, правда? Я не сводил с нее взгляда битый час и не нашел ни единой зацепки — ни одной точки, черточки или закавыки, ни малейшего пятна или изъяна, ни тени небрежности. Ты тоже оставался у меня в поле зрения — надо же было проверить, нет ли вины на тебе, то есть *на нас обоих*.

— Ну и?..— Молодой Хьюз разлил по рюмкам херес.

— Пьешь многовато, а так все ничего. Теперь слушай.

Хьюз опустил рюмку, даже не пригубив спиртное.

— Что еще?

— Полагаю, нужно дать тебе памятку, чтобы ты ее держал при себе и сверялся с нею каждый божий день. Наставления старого рыдвана для молодого болвана.

— Говори, я запомню.

— Ты уверен? Надолго ли? На месяц, на год, а потом это забудется, как и все на свете. Жизнь тебя закрутит. Мало-помалу будешь превращаться... в меня. А она тоже будет меняться, и в конце концов для нее не останется места в этом мире. Непременно говори ей о любви.

— Хорошо, буду говорить каждый день.

— Поклянись! Это чрезвычайно важно! Может быть, я на этом и споткнулся, мы с тобой оба споткнулись. Вся штука в том, чтобы не пропустить ни дня! — Старик разгорячился и, подавшись вперед, стал твердить: — Каждый божий день! Каждый божий день!

На пороге появилась Элис, слегка встревоженная:

— У вас ничего не случилось?

— Нет-нет, — улыбнулся Джонатан Хьюз. — Просто заспорили, кому из нас ты больше нравишься.

Рассмеявшись, она недоуменно пожала плечами и удалилась.

— Ну что ж,— начал Джонатан Хьюз, но загнулся, прикрыл глаза и только тогда заставил себя договорить,— пора и честь знать.

— И впрямь, пора.— Почему-то старик не двинулся с места. В его голосе зазвучала усталость, опустошенность, печаль.— Сдается мне, я потерпел крах. У вас все идет без сучка без задоринки. Не к чему придрататься. Нечего посоветовать. Боже, какая нелепость: явился, выбил тебя из колеи, растревожил, вмешался в ход твоей жизни — а что я могу тебе дать, кроме туманных намеков и дурацких предсказаний? Еще минуту назад я сидел и думал: убью ее прямо сейчас, избавлюсь от нее без промедления, возьму вину на себя — старику терять нечего, а у молодого, то есть у тебя, должны быть развязаны руки, чтобы без помех двигаться к будущему. Одним словом, бред, верно? И кто знает, что могло из этого выйти? Временной парадокс — известная штука. Мыслимо ли нарушать течение времени, устройство жизни, порядок мироздания? Как по-твоему? Да ты успокойся, а то на тебе лица нет. Пока никто никого не убивает. Это дело будущего, отодвинутое лет на двадцать. Старик ничего для тебя не сделал, ничем не помог, а сейчас просто-напросто выйдет за порог и канет в собственное безумие.

Он поднялся с кресла и опять закрыл глаза:

— Проверим, сумею ли я вслепую найти выход из собственного дома.

Он шагнул в темноту; молодой хозяин дома последовал за ним, на ощупь открыл в прихожей дверцу шкафа, достал пальто и не спеша помог гостю одеться.

— А ведь ты кое-чем был мне полезен,— сказал Джонатан Хьюз.— Ты велел мне повторять, что я люблю ее.

— И то верно.

Они уже стояли у порога.

— Неужели нам не на что надеяться? — с жаром спросил старик, когда Джонатан Хьюз этого совсем не ожидал.

— Я сделаю все, что от меня зависит.

— Отрадно, ах, как отрадно это слышать. Я почти поверил!

Старик сделал шаг вперед и не глядя открыл дверь:

— С женой прощаться не стану. Нет сил видеть это милое лицо. Скажи ей, мол, старый дурак ушел. Куда? Прямо по дороге, а там подожду. Настанет день — и ты меня догонишь.

— Чтобы превратиться в тебя? Ну нет! — сказал хозяин.



— Повторяй это почаще. Ох, чуть не забыл...— Старик пошарил в кармане и вытащил небольшой предмет, завернутый в мятую газету.— Сохрани эту штуку. На меня даже сейчас надежды мало, а ведь это еще не конец. Не ровен час выкину какую-нибудь глупость. Вот, держи.

Он сунул сверток в руки молодому хозяину.

— Счастливо оставаться. А ведь это значит «оставайся счастливым», верно? Да-а. Счастливо оставаться.

Старик торопливо зашагал в темноту. Среди ветвей шуршал ветер. Где-то в ночи грохотал поезд, не то приближаясь, не то улета вдаль,— кто его разберет.

Джонатан Хьюз еще долго стоял в дверях, пытаясь понять, движется ли по темной улице чья-то фигура.

— Милый! — окликнула жена.

Он стал разворачивать мятую газетную бумагу.

Жена стояла на пороге гостиной, но ее голос доносился откуда-то издалека, равно как и шаги по безлюдной дороге.

— Закрой дверь, дует,— сказала она.

Развернув оставленную вещицу, он остолбенел. У него на ладони лежал изящный револьвер.

Далекий поезд издал прощальный гудок, тут же унесенный ветром.

— Кому сказано: закрой дверь,— проговорила жена.

Похолодев, он невольно зажмурился.

Этот голос. Не появились ли в нем еле заметные, почти неуловимые вздорные нотки?

Он медленно повернулся, не чуя под собой ног. Задел плечом створку двери. Она закачалась. А потом...

Ветер, повинуюсь только себе, с яростным стуком захлопнул эту дверь.

## *Задача на деление*

— Да ты никак замок сменила!

Сбитый с толку, он стоял в дверях и смотрел на круглую дверную ручку, которую пытался повернуть одной рукой, сжимая в другой старый ключ.

Она убрала ладонь с такой же ручки, только по другую сторону двери, и ушла в дом.

— Чтобы чужие не ходили.

— Чужие! — вскричал он. Еще раз покрутил ручку, со вздохом убрал в карман ненужный ключ и прикрыл за собой дверь.

— Хотя, наверно, так и есть. Мы теперь чужие.

Стоя посреди гостиной, она смотрела на него в упор:

— Что ж, приступим.

— Похоже, ты уже приступила. Ну и ну.— Он обвел глазами многочисленные стопки книг, с

предельной аккуратностью сложенные на полу.— Неужели нельзя было подождать меня?

— Зачем терять время? — Она указала подбородком сначала налево, потом направо.— Эти — мои. А вот те — твои.

— Давай хотя бы посмотрим.

— Сделай одолжение. Смотри, сколько хочешь, но все равно: эти — мои, а вот те — твои.

— Нет, так не пойдет! — Он наклонился и стал перекидывать книги, хватая по одной то справа, то слева.— Придется начать с самого начала.

— Ты сейчас все перепутаешь,— возразила она.— А я, между прочим, потратила уйму времени, чтобы их рассортировать.

— Что ж поделаешь.— Тяжело дыша, он опустился на одно колено.— Придется потратить еще какое-то время. «Психоанализ по Фрейду»! Вот видишь? Как эта книга попала в мою стопку? Терпеть не могу Фрейда!

— Я просто решила от нее избавиться.

— Избавиться? Таким способом? Нечего навязывать всякий хлам чужому человеку, даже если это твой бывший муж. Значит, надо делить не на две, а на три части: для тебя, для меня и для Армии Спасения.

— Вот и заberi с собой книжки для Армии Спасения — не я же буду этим заниматься.

— А почему, собственно? Позвони прямо сейчас. С какой стати я должен тащить эту макулатуру через весь город? Не проще ли...

— Ладно, ладно, успокойся. Не надо разбрасывать книги. Просмотри сначала мои стопки, потом свои. Если будут какие-то возражения...

— Я уже вижу: на твоей стороне лежит мой Тэрбер — что он там делает?

— Ты сам подарил мне этот томик на Рождество десять лет назад. Неужели не помнишь?

— Разве? — сказал он и задумался. — Да, верно. Ну хорошо, а что там делает Уилла Кэтер?

— Ты мне подарил ее на день рождения двенадцать лет назад.

— Сдается мне, я тебя слишком баловал.

— Да, черт возьми, было дело. Жаль, что прошлого не вернуть. Может, не пришлось бы теперь делить эти книги, будь они неладны.

Он вспыхнул, отвернулся и осторожно подвинул одну из ее стопок носком ботинка.

— Карен Хорни — мне она даром не нужна, зануда порядочная. Юнг... Юнг получше будет, меня он всегда интересовал, но так и быть, можешь оставить себе.

— Ах, какое великодушие.

— Для тебя ведь на первом месте всегда были мысли, а не чувства.

— Тот, кто готов опуститься на любую подстилку, не вправе рассуждать ни о мыслях, ни о чувствах. Тот, у кого на шее засосы...

— Мы это уже обсуждали, сколько можно? — Он снова опустился на колени и стал водить пальцами по заглавиям на книжных корешках. — Ага, Кэтрин Энн Портер, «Корабль дураков» — неужели ты это одолела? Ладно, пользуйся. Рассказы Джона Колльера! Ты прекрасно знаешь: этот сборник — из числа моих любимых! Забираю его себе.

— Нет, погоди! — запротестовала она.

— Забираю. — Вытащив книгу из середины стопки, он швырнул ее на пол.

— Осторожно! Испортишь обложку!

— Моя книга, что хочу, то и делаю. — Он подтолкнул сборник ногой.

— Представляю, если бы ты заведовал городской библиотекой, — сказала она.

— Так, Гоголь: не интересуюсь, Сол Беллоу: не интересуюсь, Джон Апдайк: стиль — неплохой, но мысли нет. Не интересуюсь. Фрэнк О'Коннор? Ладно, бери себе. Генри Джеймс? Не интересуюсь. Толстой — не упомянуть, кого как зовут: вроде даже интересно, только очень много наворочено, — оставь себе. Олдос Хаксли? Стоп! Ты прекрасно знаешь, что я ценю его эссе куда больше, чем романы!

— Собрание сочинений нельзя делить!

— Это еще почему? Ты собираешься поделить даже малыша. Романы оставь себе, а идеи забери я.

Схватив три тома, он метнул их по ковру на другую половину гостиной.

Перешагнув через книги, она принялась изучать стопки, которые сама сложила для него.

— В чем дело? — возмутился он.

— Надо кое-что пересмотреть. Заберу-ка я назад Джона Чивера.

— Еще чего?! Тебе — что получше, а мне — что получится? Чивера не тронь. Вот тебе Пушкин. Скука. Роб-Грийе — скука на французский манер. Кнут Гамсун? Скука на скандинавский манер.

— Хватит навешивать ярлыки. Нечего заноситься, как будто я двоечница. Рассчитываешь забрать самые ценные книги, а меня оставить с носом?

— Можно и так сказать. Эти дутые авторитеты только и делают, что копаются друг у друга в пупках, поют взаимные дифирамбы на Пятой авеню и всю дорогу палят холостыми!

— Диккенс, по-твоему, тоже дутый авторитет?

— Диккенс?! На протяжении этого века ему не было равных!

— И то слава богу! Если ты заметил, тебе достается весь Томас Лав Пикок. Вся фантастика Азимова. А это что, Кафка? Сплошные банальности.

— Так кто из нас навешивает ярлыки? — Он нетерпеливо перебирал то ее стопки, то свои. — Пикок! Едва ли не величайший юморист всех времен. Кафка? Глубина. Блистательное безумие. Азимов? Гений.

— Ох, скажите на милость! — Она села в кресло, положила руки на колени и наклонилась вперед, кивая в сторону книжных гор. — Кажется, я начинаю понимать, где между нами прошла трещина. Твои любимые книги для меня — чепуха. Мои для тебя — баракло. Мусор. Почему мы этого не заметили десять лет назад?

— Мы многого не замечаем, пока... — он запнулся, — ...пока любим.

Наконец-то это было произнесено вслух. Откинувшись на спинку кресла, она неловко сложила руки на груди и чопорно сдвинула колени. В глазах появился предательский блеск.

Он отвел взгляд и принялся мерить шагами комнаты.

— Дьявольщина, — пробормотал он, с осторожностью трогая ногой то одну, то другую стопку. — Мне плевать, что куда попало. Какая разница, я ведь...



— Сможешь все увезти за один раз? — тихо спросила она, глядя на него в упор.

— Думаю, да.

— Помочь тебе погрузить книги в машину?

— Нет, не надо.— В комнате опять повисло долгое молчание.— Я сам.

— Точно?

— Абсолютно.

С тяжелым вздохом он потащил к дверям первую охапку книг.

— У меня в багажнике есть коробки. Сейчас принесу.

— А остальное не будешь просматривать? Может, ты сочтешь, что там много лишнего.

— Вряд ли,— отозвался он.— Ты знаешь мой вкус. Я же вижу — все рассортировано с умом. Просто не верится: как будто ты взяла лист бумаги и аккуратно разрежала пополам.

Он перестал громоздить книги у дверей и окинул взглядом сначала один книжный вал, потом все другие литературные крепости с башнями и, наконец, свою жену, зажатую на нейтральной полосе. Где-то далеко-далеко, в противоположном конце.

В это время из кухни примчались две черные кошки, одна крупная, другая поменьше; они на-

чали скакать по шкафам и полкам, а потом так же внезапно исчезли, не издав ни звука.

У него дрогнула рука. Правая нога развернулась носком к открытой двери.

— Нет, не надо! — остановила она. — Здесь кошкам вольготнее. И Мод, и Модлин останутся со мной.

— Но ведь... — начал он.

— Нет, — отрезала она.

Снова наступила пауза. У него понуро опустились плечи.

— Черт побери, — вполголоса сказал он. — На кой мне эти книги? Оставь себе.

— А через пару дней ты передумаешь и приедешь за своей долей.

— Мне они не нужны, — бросил он. — Мне нужно совсем другое.

— В том-то и ужас, — сказала она, не двигаясь. — Я все понимаю, но изменить ничего нельзя.

— Да, видимо, так. Сейчас вернусь. Надо сходить за коробками. — Открыв дверь, он еще раз недоверчиво оглядел новый замок. Достал из кармана старый ключ и положил на столик в прихожей. — Это можно выбросить.

— Конечно, — подтвердила она, но так тихо, что он не расслышал.

— Я постучу,— сказал он и обернулся с порога.— Надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что все это время мы старательно обходили главный вопрос.

— Какой?

Он заколебался, переступил с ноги на ногу и выговорил:

— С кем останутся дети?

Она не успела ответить — за ним уже закрылась дверь.

## *Приезжайте вместе с Констанс!*

В субботу за завтраком жена положила на стол почту. Как всегда, целую кипу.

— Мы с тобой внесены во все реестры города и окрестностей,— сказал он.— Я понимаю, счета — неизбежное зло. Но эти бессмысленные вернисажи и премьеры, эти выгодные предложения, от которых никакой выгоды, эти...

— Что еще за Констанс? — перебила жена.

— Кто-кто? — опешил он.

— Констанс,— повторила жена.

И летнее утро тут же сменилось ноябрьским холодком.

Она протянула ему письмо из Лейк-Эрроухеда, от эзотерической компании, известной ему по опыту прошлых лет: его приглашали посетить курс лекций на темы голосов Вселенной, телепатии, экстрасенсорных техник и дзен-буддизма. Под тек-

стом стояла неразборчивая подпись, что-то вроде «Джуйфл Кикрк». Как будто печатали в темноте, тыча пальцем куда попало, а потом не удосужились проверить.

Внизу была приписка: «Приезжайте вместе с Констанс!»

— Ну? — спросила жена, старательнее обычного намазывая маслом подсушенный хлеб.

— Впервые слышу.

— Неужели?

— Знать не знаю никакой Констанс.

— Правда?

— Клянусь честью матери воина-индейца.

— Индейцы — ослы, воины — козлы, а твоя мать была доступной женщиной, — сказала жена.

— Никакой Констанс, — он швырнул письмо в мусорную корзину, — не было и в помине, нет и не будет.

— В таком случае, — с логикой обвинителя произнесла жена, словно облокотившись на барьер перед свидетелем, — по-че-му, — выговорила она по слогам, — это имя, — изрекла она и закончила: — Упомянуто в письме?

— А собаки готовы? — спросил он.

— Какие еще собаки?

— Которых ты собираешься на меня спустить. Между тем его мысли заметались.

В задумчивости глядя на него, жена вторично мазала маслом один и тот же тост. Констанс, лихорадочно соображал он.

Была у меня знакомая Алисия, была Марго, знал одну Луизу, где-то — дело прошлое — по-встречал даже Эллисон. Но чтобы...

Констанс?

Нет. Ни в опере. Ни в гостях.

Через пять минут он позвонил в Лейк-Эрроухед.

— Где у вас этот кретин? — брякнул он, не подумав.

— Мистер Джунофф? Соединяю,— ответил женский голос, как будто в таком именовании не было ничего особенного.

— Мою жену зовут не Констанс,— сказал муж.

— С чем вас и поздравляю. А вы, собственно, кто?

— Прошу прощения.— Муж представился.— Слушайте, если я четыре года назад в минуту слабости позволил вам капать мне на мозги, это еще не дает вам права присылать мне приглашение на ваши литературные игрища. Тем более что в конце вы добавили: «Приезжайте вместе с Констанс». Но мою жену зовут сосем не так.

Трубка умолкла. Через некоторое время психоаналитик со вздохом переспросил:

— Вы не ошибаетесь?

— Мы женаты двадцать лет. Надо думать, не ошибаюсь.

— По-видимому, я случайно...

— Нет, не случайно. Мою любовницу — когда у меня была любовница, в чем я порой сомневалась, — звали Дебора.

— Чертовщина какая-то, — сказал Джунофф.

— Вот именно. Нет, я не ошибаюсь. А вот вы наломали дров.

Трубку положили рядом с телефоном и тут же взяли снова. Создалось впечатление, будто собеседник налил в стакан убойную дозу и для отвода глаз изображает беззаботность.

— Я могу отправить письмо на имя Констанс...

— Какая еще Констанс? У меня есть только жена. И зовут ее... — Он запнулся.

— Что с вами?

Муж закрыл глаза:

— Постойте. Аннетта. Нет, это ее мамаша. Анна. Да, точно. Отправьте письмо на имя Анны.

— И что ей написать?

— Извинитесь, что приплели эту Констанс. Вы меня поставили в идиотское положение. Теперь жена считает, что у меня была другая женщина.

— Констанс и в самом деле так думает?

— Аннетта. То есть Анна. Анна! Вам же ясно сказано...

— ...что никакой Констанс нет и в помине, я понял. Одну минутку.

В трубке опять послышался звук льющейся жидкости.

— Вы там пьете джин или разговариваете со мной?

— Как вы догадались, что это джин?

— Вы его встряхиваете, а не размешиваете.

— Ага. Понятно. Так что, писать ей письмо или как?

— Да какой от этого прок? Жена решит, что вы хотите прикрыть мою задницу.

— Так ведь и в самом деле...

— С женами такие номера не проходят!

На другом конце провода, в загородном доме у озера, опять повисло долгое молчание.

— Ну? — поторопил муж.

— Я жду.

— Чего, скажите на милость?

— Жду ваших распоряжений.

— Вы же психолог, вы специалист, консультант, ваше дело — промывать запорошенные мозги, вы же ходите в мягких тапочках — вот и придумайте что-нибудь!

— Одну минутку, — ответили из Лейк-Эрроухеда.



Там не то щелкнули пальцами, не то бросили в стакан еще кусочек льда.

— Есть! — воскликнул психоаналитик. — Кажется, придумал. Да, вот оно! Придумал. Ай да я, ну и голова! А вы там из штанов выпрыгиваете!

— Не имею такой привычки, черт бы вас побрал!

— Внимание! Сейчас будем поднимать «Титаник»!

*Крак.*

Там опять щелкнули пальцами или раскололи кусок льда, а может, положили трубку.

— Джунофф!

Но он как сквозь землю провалился.

Муж и жена выясняли отношения все утро, за ланчем перешли на повышенные тона, за кофе — на крик, часа в два перенесли ссору к бассейну, в четыре прилегли вздремнуть, проснулись со свежими силами в половине пятого, выпили по коктейлю, а без пяти пять услышали настойчивый звонок в дверь. Оба проглотили языки: она — в праведном гневе, он — в нарастающей ярости от вынужденных оправданий.

Каждый перевел взгляд от барной стойки в направлении входной двери.

Требовательный звонок прозвучал еще раз. Снаружи какая-то могучая, величественная сила

давила на кнопку, не собираясь отступить, словно задалась целью поставить на колени презренных людишек. Никогда еще домашний звонок не проявлял такой бесцеремонности. Отсюда следовало, что на пороге стоял либо какой-то нахал, не обученный вежливости, либо важный гость, сошедший с недостижимых высот.

Супруги направились к дверям.

— Куда? — вскричала жена.

— Посмотреть, кто пришел, куда же еще?

— Не выйдет! Решил замести следы?

— Какие могут быть следы?

— Обманщик! Прочь с дороги!

Тут она пошла на обгон. Муж вернулся к стойке и на протяжении тридцати секунд вливал в себя алкоголь.

А на тридцать первой секунде увидел ее в дверях. Она была не то ошарашена, не то парализована — вероятно, все сразу. Повернувшись спиной к входу, она подзывала его нелепыми жестами одной руки. Он вытаращил глаза.

— Это Констанс, — выдавила жена.

— Кто? — завопил он.

— Говорю же: Констанс! — пропел незнакомый голос.

Самая высокая и самая прекрасная из всех известных ему женщин решительно вошла в комна-

ту, оценила обстановку и, не теряя времени, бросилась к нему: сначала схватила за локти, потом обняла и запечатлела поцелуй на самой середине лба, где моментально образовался третий глаз.

Отступив назад, она смерила его взглядом, будто не одного-единственного мужчину, а целую спортивную команду, которой она собиралась вручить медали.

Вглядываясь в ее сияющее лицо с крупными чертами, он прошептал:

— Констанс?

— Да ты, я вижу, изрядно набрался!

Рослая красотка обернулась к жене, чтобы высказать и ей нечто подобное, а жена под ее взглядом превратилась если не в команду-победительницу, то в толпу болельщиков.

— Значит, это и есть?.. — только и спросила она.

— Аннетта! — одернул муж.

— Анна, — поправила жена.

— Ну да, — спохватился муж. — Анна.

— Анна! Шикарное имя. Может, нальете чего-нибудь и мне, Анна?

Красавица блондинка тряхнула нимбом пышных волос, стрельнула глазами цвета утренней дымки, а потом уверенной походкой, играя точеными руками, прошла через всю комнату и удобно устроилась в кресле, вытянув ноги, растущие от самой шеи.

— Умираю — хочу мартини. Угостите?

Стоило мужу пошевелиться, как жена закричала:

— Ни с места!

Он так и обмер.

Устремившись вперед, жена оглядела прелестницу таким же взглядом, каким та одарила ее, появившись в доме.

— Ну что?

— В каком смысле?

— Что вам здесь надо, как вас?..

— Констанс!

Глаза жены устремились на мужа.

— Стало быть, никакой Констанс нет и в помине?

Длинноногая гостья подмигнула мужу:

— Что ты ей наговорил?

— Ровным счетом ничего.— Это была чистая правда.

— В таком случае она должна знать все. Сегодня я лечу вечерним рейсом в Нью-Йорк, а оттуда завтра же — в Париж, на «конкорде». Насколько я знаю, тут произошло маленькое недоразумение...

— Ничего себе «маленькое»...— сказал муж.

— Вот я и подумала: надо мчаться сюда, чтобы до отъезда все расставить по местам.

— Что ж,— сказала жена.— Приступайте.

— А угощать меня кто будет?

Муж пошевелился.

— Не двигайся,— с мертвенным холодом в голосе приказала жена.

— Ну ладно,— сказала гостья, вся удлиненная, как живописная французская река, и прекрасная, как все башни и замки Франции, вместе взятые,— так и быть. Вы — бесподобная женщина!

— Я? — изумилась жена.

— Муж только о вас и говорит.

— Он? — переспросила жена.

— Ну конечно! Его не остановить. Я просто из себя выхожу. Начинаю кипятиться от ревности. Где вы познакомились, как он за вами ухаживал, куда водил обедать, ваши любимые кушанья, любимые духи («Контесса», правильно?), любимая книга — «Война и мир», вы ее перечли семь раз...

— Нет, всего шесть,— поправила жена.

— Но сейчас читаете в седьмой раз!

— Верно,— согласилась жена.

— Любимые фильмы: «Пиноккио» и «Гражданин Кейн»...

Жена перевела взгляд на мужа, тот смущенно пожал плечами.

— Любимый вид спорта — теннис; играете вы бесподобно, побеждаете его с разгромным счетом.

В бридж и покер у вас тоже неплохо получается, четыре раза из пяти он вам продувает. На школьном выпускном вечере вы произвели фурор, в колледже от вас все были без ума, после свадьбы вы отправились на пароходе из Штатов в Англию — все только на вас и смотрели; то же самое было и в прошлом году, в круизе по Карибскому морю. А в позапрошлом году вы — на обратном пути из Франции — так отплясывали чарльстон, что победили в конкурсе на борту «Королевы Елизаветы Второй». А уж как вы любите Эмили Диккинсон и Роберта Фроста! А как сыграли Дездемону в каком-то театрике — газеты о вас писали взахлеб. Как самоотверженно ухаживали за мужем в больнице, куда он угодил пять лет назад. Носились с его матушкой, как с фарфоровой куклой. Возлагали цветы на могилу его отца каждые три месяца, если не чаще. В Париже сберегли две тысячи долларов, отказавшись покупать платье от Диора. В Риме вас пригласил на обед сам Феллини, он вас обожал и чуть не увел от мужа. Свой юбилейный медовый месяц вы провели во Флоренции, там неделю лил дождь, но вы этого даже не заметили, потому что не выходили из номера. Вы написали рассказ для журнала — совершенно превосходный...

Муж слушал как зачарованный.

А жена все больше уходила в себя.

— И так без конца,— продолжала девушка, чье имя вызвало такие волнения.— Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Как он вас полюбил в двенадцать лет. Как вы ему помогали по алгебре в четырнадцать. Как сделали ремонт в этом доме — от паркета до люстры, от ванной до черного хода, как своими руками ткали коврики для прихожей и лепили горшочки для каминной полки. Боже правый, будет ли этому конец? Говорит и говорит. Я даже подумала...

Тут высокая, стройная, миловидная девушка выдержала паузу.

— Интересно, меня он тоже расхваливает на все лады?

— Никогда,— отрезала жена.

— Порой мне кажется,— продолжала красавица,— что я для него вообще не существую. Как будто он ни на миг не расстается с *вами!*

— У меня...— начал муж.

— А ты молчи,— приказала жена.

Он замолчал.

— Продолжайте.— Жена вся обратилась в слух.

— Времени нет. Мне пора. А можно коктейль?

Жена сама смешала мартини и направилась к незваной гостье, неся для нее высокий стакан, как голубую ленту — для победительницы кошачьей выставки.

Очаровательная гостья пригубила напиток:

— Сума сойти! Ничего лучше в жизни не пробовала. Скажите, у вас есть хоть какие-то недостатки?

— Надо подумать.— Не сводя глаз с соперницы, жена медленно опустилась в кресло.— Значит, он вам обо мне рассказывает, правильно я поняла?

— Именно поэтому у нас с ним ничего не вышло,— ответила обольстительница.— Сил моих больше нет. Я ему говорю: если ты ее так обожаешь, если по уши влюблен — ради бога. Но я-то тут при чем? Уходи. Катись! Проваливай! Еще один рассказ о Прекраснейшей Жене Всех Времен — и меня увезут в психушку. Сматывайся!

Красавица допила martini, закрыла глаза, смакуя букет, удовлетворенно кивнула и выбралась из кресла, являя взорам супругов этаж за этажом, одну прелестную башенку за другой. Она вознеслась над их головами, как летнее облачко, и жестом попросила их встать.

— Мне и самой пора сматываться. Спешу в аэропорт. Но хотелось бы кое-что прояснить. Не годится разрушать чужую жизнь, ничего не давая взамен. Мне с тобой было хорошо, Джордж...

— Меня зовут Билл.

— Ой! Спасибо за все, Билл, дружочек. А вы, Аннетта...



— Анна.

— Вы, Анна, вышли победительницей. Меня не будет четыре месяца. Когда вернусь, не звоните мне, я сама позвоню, если что. Счастливо, образцовая супруга. Счастливо, Чарли.— Подмигнув, она зашагала к двери, но у порога обернулась: — Спасибо, что выслушали. Живите в охотку!

Входная дверь захлопнулась. От дома с урчанием отъехало такси.

Повисло долгое молчание. Наконец жена спросила:

— Что это было?

— Ураган,— ответил муж.— Из тех, что зовутся женскими именами.

Он пошел в спальню, где жена вскоре застала его за упаковкой чемодана.

— Скажи на милость, чем ты занимаешься? — поинтересовалась она, стоя в дверях.

— Я подумал, после этого ты меня выставишь...

— Намерен снять номер в гостинице?

— Возможно...

— Чтобы она тут же подцепила тебя на крючок?

— Просто я считал...

— Ты полагаешь, я тебя отпущу туда, где водятся такие стервы? Ах ты, размазня...

— Размазню затруднительно подцепить на крючок.

— Кому надо — зачерпнет ковшиком. Вынимай рубашки из чемодана. Клади на место галстуки. Тапки — под кровать. Теперь пойдика выпей, черт тебя побери, а потом сядешь за стол и будешь есть то, что я приготовлю.

— Но ведь...

— Ты чудовище, животное, негодяй,— бросила она.— Но все равно...

У нее потекли слезы.

— Я тебя люблю. Господи, помоги! Люблю.

С этими словами она выбежала из комнаты.

Услышав, как она в неистовстве колет лед для шейкера, он набрал телефонный номер:

— Где этот сукин сын?

— Джунофф слушает. В чем дело?

— Джунофф, великий мозгоправ, хитроумный спасатель! Кто она такая? Как вам это удалось?

— Она? Не понимаю, о ком речь,— отозвался голос из Лейк-Эрроухеда.

— Как вам удалось запомнить столько подробностей — ведь я проходил у вас курс четыре года назад! Как вы посмели ей это рассказать? В каком театре она подвизается? Откуда у нее такие таланты и такая мгновенная реакция?

— Не могу взять в толк, о чем вы. И вообще, кто это говорит?

— Ну и мошенник!

— Ваша жена поблизости? Как ее зовут?

— Аннетта. То есть Анна.

— Дайте ей трубочку!

— Но...

— Позовите ее к телефону!

Он подошел к барной стойке, взял вторую трубку и протянул жене.

— Алло,— заговорил Джунофф с горы у озера, за сотни миль от их дома.

Голос так грохотал, что жене пришлось отстранить трубку от уха. Джунофф не унимался:

— Анна? У меня в следующие выходные будет потрясающая тусовка!

А напоследок:

— Приезжайте вместе с Констанс!

## *Младшенький*

Проснувшись рано утром первого октября, Альберт Бим, восьмидесяти двух лет от роду, стал свидетелем чуда, которое случилось то ли ночью, то ли — как по заказу — на рассвете. Под одеялом, примерно в середине кровати, образовался характерный бугорок. Первой мыслью было, что затекшая нога слегка согнулась в колене, однако, поморгав спросонья, он все понял...

Это объявился его верный друг, Альберт-младший.

Или просто Младшенький, как окрестила его одна веселая девушка лет этак... подумать страшно... шестьдесят тому назад!

А тут Младшенький ожил, пришел, так сказать, в боевую готовность.

«Привет,— сказал про себя Альберт Бим-старший при виде этого зрелища,— давненько ты не вставал раньше меня — с июля семидесятого».

С июля тысяча девятьсот семидесятого года!

Он не спускал глаз с бугорка. Чем дольше задерживался на нем его испытующий взгляд, тем сильнее заносился Младшенький, полный решимости, настоящий красавец.

«Вот так штука,— подумал Альберт Бим.— Подожду, пока он вернется в исходное положение».

Зажмурившись, он выжидал, однако изменений не было. Точнее сказать, изменения никуда не делись. Младшенький не вернулся в исходное положение. Он никуда не спешил, предвидя какую-то новую жизнь.

«Так держать! — безмолвно скомандовал Альберт Бим.— Но ведь чудес не бывает!»

Он сел в постели, вытаращив глаза и едва переводя дух.

— Значит, ты еще постоишь? — воскликнул он, обращаясь к своему старому другу, который сделался послушным, как прежде.

— А как же! — померещился ему тихий ответ.

Недаром в студенческие годы, во время тренировок на батуте, он веселил себя и однокашников уморительными перебранками с Младшеньким, который напропалую сыпал похабными шуточками. Среди многих талантов Альберта Бима чревоущание пользовалось наибольшим успехом, особенно в спортзале.

Немудрено, что Младшенький тоже обладал многими талантами.

— А как же! — повторил лукавый голосок. — Обязательно!

Альберт Бим вскочил с кровати. Пролистав половину записной книжки, он осознал, что нужные телефоны еще не выветрились из памяти. Лихорадочно вращая диск, он поочередно набрал три номера, не сдерживая дрожь в голосе.

— Алло.

— Алло!

— *Алло!*

Он звонил с островка старости через холодное море на летний берег. Ему ответили три женщины. Еще сравнительно молодые, застрявшие на шестом десятке, они стали ахать, умиляться, восторгаться, когда Альберт Бим огорошил их этой вестью:

— Эмили, ты не согласишься...

— Кора, случилось чудо!

— Элизабет, Младшенький вернулся.

— Воскрешение Лазаря!

— Бросай все!

— Лети сюда!

— Пока, пока, *пока!*

Когда он бросил трубку, ему вдруг стало страшно, что после всех этих треволнений Почетный

Член Ночного Хот-Дог-Клуба Подстольных Игр отправится на покой. По спине побежали мурашки: не ровен час космический корабль развалится прямо на мысе Канаверал до прибытия восторженной толпы.

Опасения были напрасными.

Для солидности насупившись, Младшенький стоял навытяжку и радовал глаз.

Альберт Бим, на девяносто пять процентов мумия, на пять процентов светский лев, еще метался по дому нагишом, прихлебывая кофе, чтобы окончательно проснуться самому и взбодрить Младшенького, а на подъездной дорожке уже затормозили три машины; пришлось спешно набросить халат. Забыв пригласить дико всклокоченные патлы, он побежал встречать девочек, которые на самом деле были не девочками и даже не девушками, но и на леди не тянули, если уж совсем честно.

Не дожидаясь, пока перед ними распахнут дверь, они начали бешено молотить по ней кулачками, словно кувалдами,— такой стоял грохот.

Ворвавшись в дом, они едва не сбили с ног хозяина и мигом оттеснили его в гостиную.

Одна когда-то была рыженькой, другая блондинкой, третья брюнеткой, но прежний цвет волос — натуральный или искусственный — теперь заменили всевозможные оттеночные пенки и баль-

замы. Запыхавшиеся гости хихикали и смеялись в голос, увлекая за собой Альберта Бима. Они разругались от веселья, а может — кто их разберет? — покраснели в предвкушении антикварного чуда. Причем сами они были полуодеты: каждая второпях завернулась в халат, чтобы стремглав примчаться сюда и порадовать Лазаря, торжественно восставшего из гроба.

— Альберт, неужели это правда?

— Без обмана?

— Помнится, ты обожал нас лапать, а теперь задумал облапошить?

— Крошки мои!

Альберт Бим покачал головой и расплылся в широкой, добродушной улыбке, тайно ощущая такую же улыбку своего Голубчика, Друга, Приятеля, Братишки. Лазарь дернулся от нетерпения.

— Без обмана. Кроме шуток. Прошу садиться, дамы!

Плюхнувшись в кресла, женщины обратили розовые личики и торжествующие взгляды на старого спеца по космическим ракетам, готового начать обратный отсчет.

Альберт Бим взялся за борта купального халата, который, как и было задумано, мало что скрывал, и стал томно переводить глаза с одного лица на другое.



— Эмили, Кора, Элизабет,— ласково начал он.— Вы были неподражаемы, такими и остались, такими будете всегда.

— Альберт, солнышко, мы умираем от любопытства!

— Минутку! — прошептал он.— Мне нужно... *вспомнить*.

В наступившей тишине все переглянулись и вдруг поняли кое-что очевидное, о чем в надвигающихся сумерках жизни не говорили вслух, но теперь догадались, оглянувшись на уходящие годы.

Очень просто: они так и не повзрослели.

Идя по жизни бок о бок, они навсегда остались в детском саду — ну, самое большее, в четвертом классе.

Этому способствовали бесконечные ланчи с шампанским и ночные фокстроты-вальсы, когда партнер начинал покусывать за ушко, а потом уводил поваляться на травке.

Никто из присутствующих никогда не состоял в браке; ни у кого не было детей — даже в мыслях; никто не оброс родней, если не считать родней тех, кто находился сейчас в гостинной; на самом деле, они не стали родными, а лишь продлили друг другу детство и застряли в отрочестве. Они подчинялись только веселым или безумным ветрам, гулявшим в голове, да своему природному нраву.

— Сейчас, сейчас, мои хорошие,— прошептал Альберт Бим.

С какой-то истовой теплотой они вглядывались в окружающие лица-маски. Потому что их вдруг осенило: пусть они всю жизнь думали только об удовольствиях, зато никому не причинили зла!

Каким-то чудом — такое возникло ощущение — они за всю жизнь не нанесли друг другу ни одной обиды, а мелкие царапины давно зажили, и теперь, сорок лет спустя, их дружбу скрепляли три любовные истории.

— Друзья,— подумал вслух Альберт Бим.— Именно так. Мы настоящие *друзья*!

И верно: много лет назад, когда он полюбовно расставался с одной из этих красавиц, ей на смену приходила другая, еще милее. Он умел так безошибочно выбирать для них время на часах жизни, что каждая ощущала свое женское превосходство, а поэтому не мучилась ни страхом, ни ревностью.

На их лицах расцвели улыбки.

Какой он все-таки славный, как щедр на выдумку: пока не состарился, успел подарить каждой из них неизмеримую, безграничную радость.

— Альберт, голубчик, не тяни,— сказала Кора.

— Зрители в сборе,— сказала Эмили.

— Где же Гамлет?

— Готовы? — спросил Альберт Бим.— Можно начинать?

Он помедлил, ведь ему предстояло в последний раз себя показать или проявить — это уж как получится, — прежде чем исчезнуть в коридорах истории.

Дрожащие пальцы, которые с трудом вспоминали разницу между молнией и пуговицами, взялись за фалды халата, как за полотнища театрального занавеса.

А из-за сомкнутых губ грянули бравурные аккорды.

Дамы вострепонулись и подались вперед, вытирашив глаза.

Потому что наступил тот желанный миг, когда логотип «Уорнер Бразерс» сменяется титрами под искрометные фейерверки духовых и струнных Стайнера или Корнгольда.

Что же это было — симфонический вал из «Мрачной победы» или «Приключений Робина Гуда»?

Партитура из «Елизаветы и Эссекса», «Плыви вперед» или «Окаменевшего леса»?

Окаменевший лес! Губы Альберта Бима изогнулись в ухмылке от этого каламбура. Прямо о Младшеньком, не в бровь, а в глаз!

Музыка все нарастала, достигла кульминации и наконец-то слетела с его уст.

— Та-рам! — пропел Альберт Бим.

И раскрыл занавес.

Дамы закричали в притворном ужасе.

Потому что перед ними предстал исполнитель главной роли в спектакле «Откровение» — Альберт Бим II.

Он же — по праву гордый собою — Младшенький.

Не выходявший на люди много лет, он цвел, как фруктовый сад, как райские кущи.

Сам себе и Змей, и Яблоко?

Именно так!

Через сахарные головы женщин пронеслись сцены из «Кракатау, извержение, которое потрясло мир». Из старинных стишков выпрыгивали строчки наподобие «Деревья создает лишь Бог». Кора, судя по всему, припомнила партитуру «Последних дней Помпеи», Элизабет — музыку из «Подъема и разрушения Римской империи». Эмили, которая от неожиданности перенеслась в 1927 год, бубнила дурацкие слова «Счастливчик Линди... “Дух Сент-Луиса”, плыви в вышине... крепись, мы с тобой».

Потом трио затихло, чтобы не спугнуть священный утренний час, время восхищения и любования. Подруги застыли, словно идолопоклонницы перед Источником, перед Святыней, наблюдая дивное сияние и беззвучно молясь, чтобы этот миг продлился.

И он продлился.

Альберт Бим на пару с Младшеньким стояли перед залом по стойке «смирно»; ветеран ухмылялся в открытую, а юниор — исподтишка.

На женские лица легла тень прошлого.

Каждой вспомнился Монте-Карло, Рим или Париж, где они как-то ночью, сто лет назад, танцевали в фонтане отеля «Плаза» вместе со Скоттом и Зелдой. Перед ними проплывали многие солнца и луны; если что-то и застило им глаза, то не ревность, а только прошлые жизни, которые вернулись и соединились в круг.

— Ну, — выдохнули наконец все вместе.

Каждая из подруг сделала шаг вперед, чтобы легонько поцеловать в щеку Альберта Бима и наградить улыбкой сначала его, а потом Инфанта, Дражайшего Члена Семьи, который заслуживал ласки, но пока оставался неприкосновенным.

Греческие музы, отставные фурии, античные весталки отступили для обряда прощания.

И тут хлынули слезы.

Сначала у Эмили, потом у Кору, потом у Элизабет — каждая припомнила себя глупой девчонкой, которая попала в ночную аварию, но вышла из нее без увечий.

Альберт Бим смотрел на эти бурные, соленые реки, и у него тоже брызнули слезы.

Скорбел ли он о прошлом, которое не было усыпано розами, или радовался настоящему, такому благодостному и притягательному,— кто знает. Все четверо плакали, не зная, куда девать руки.

Через некоторое время они стали исподтишка коситься друг на друга, как дети, которые смотрят в зеркало, чтобы уловить загадочную недоступность слез.

На стеклах очков у всех блеснули соленые искры.

— Ой, ха-ха-ха!

Оглушительный смех рассыпался, как несносный попкорн, по всему дому.

— Ой, хи-хи-хи!

Они закружились на месте. Они топали ногами, чтобы дать выход лавине веселья. Они не могли сдержаться, как допущенные на чопорную церемонию чаепития ребяташки, у которых любое сказанное слово вызывает приступы хохота, до ломоты в костях, так что хочется только выбраться из-за стола, чтобы бродить кругами, словно в тумане, лопааясь от потехи, а потом упасть на пол и захлебнуться от смеха.

Именно это и произошло. Поддавшись земному притяжению, дамы осели на паркет, и последние слезы кометами брызнули из глаз. Подруги перекатывались с боку на бок, словно на утреннем пляже, и ловили ртом воздух.

— О боже! Ох! Ах!

Старик не мог этого вынести. От этого землетрясения он и сам затрясся, согнувшись пополам. В последний момент он успел заметить, что его дружок, его ненаглядный, драгоценный Младшенький, не выдержал воплей, всхлипов и криков — он растаял снежной памятью и обратился в призрак.

Альберт Бим уперся руками в колени и громко хохотнул, увидев то, что уже стало привычным: сморщенное, куцее и нелепое естество, которое тупо глядело в непостижимую землю.

Он катался по полу вместе с гостями, давясь от смеха. Они избегали смотреть друг на друга, чтобы не довести себя до инфаркта этим ревом и воем, который помимо их воли срывался с уст.

В конце концов веселье пошло на убыль; дамы смогли сесть и привести в порядок непокорные волосы, улыбки, вздохи, взгляды.

— Фу-ты, господи,— отдувался старик.— Неплохо мы повеселились, славно, просто здорово, не припомню, чтобы мы когда-нибудь так хохотали.

Все согласно кивнули: «Да-да».

— Что ж,— сказала, успокоившись, прагматичная Эмили,— спектакль окончен. Чай остыл. Пора домой.

Дамы дружно подняли скелет старого вояки, и в теплом, душевном молчании он постоял в окружении своих любимых, а потом они укутали его в халат и повели к дверям.

— Почему? — недоумевал старик. — Скажите на милость, почему Младшенький объявился именно сегодня?

— Ты еще спрашиваешь? — воскликнула Эмили. — Ведь у тебя день рождения!

— И правда! Вот повезло! — подхватил он. — А как по-вашему, на будущий год — или через пару лет, или еще когда-нибудь — достанется мне такой же подарок?

— Ну... — протянула Кора.

— Мы...

— Наверно, уже в другой жизни, — мягко проговорила Эмили.

— Прощай, милый Альберт, и ты, красавчик Младшенький.

— Спасибо за все, что было, — сказал старик. Он помахал, и они укатили по гравиевой дорожке в ясное, солнечное утро.

Альберт Бим еще долго стоял на крыльце, а потом обратился к старому другу, нашедшему вечный покой:

— Эй, Фидо, дружище, не прилечь ли нам перед обедом? А если повезет, будем смотреть безумные сны до самого ужина!



Силы небесные, не ослышался ли он? Тихий голосок откликнулся:

— Так недолго и с голоду помереть!

— И то верно!

Оба они — засыпающий на ходу старик и уже погрузившийся в сон Младшенький — рухнули ничком на кровать с тремя теплыми, смешливыми привидениями...

И так уснули.

## *Надгробный камень*

Начать с того, что путь был не близок, ей в тонкие ноздри забивалась пыль, а Уолтер, муженек ее, родом из пыльной Оклахомы, и в ус не дул: крутил руль «форда» и раскачивался костлявым торсом туда-сюда — глаза бы на него не глядели, болван самоуверенный, но в конце концов они добрались до этого кирпичного города, нелепого, как старый грех, и даже нашли, где снять комнату. Хозяин провел их наверх и отомкнул ключом дверь.

Посреди тесной каморки высился надгробный камень.

Леота — по глазам было видно — сразу смекнула, что к чему, но тут же притворно ахнула и с дьявольской быстротой начала кое-что перебирать в уме. У нее были свои приметы, которые Уолтер так и не смог постичь, а тем более искоренить. Раскрыв рот, она отпрянула, а Уолтер вперился в

нее взглядом серых глаз, сверкнувших из-под тяжелых век.

— Ну нет! — решительно вскричала Леота. — Коль в доме покойник, туда ни ногой!

— Леота! — одернул ее муж.

— О чем речь? — удивился хозяин. — Мадам, неужто вы подумали...

Леота в душе усмехнулась. Разумеется, она ничего такого не подумала, но это был единственный способ насолить мужу, деревенщине из Оклахомы; так вот:

— Сказано вам, не согласна я спать, где мертвец лежит! Выносите его — и все тут!

Вконец обессилевший, Уолтер не сводил глаз с продавленной кровати, и Леота осталась довольна — все-таки она ему досадила. Что ни говори, а приметы бывают ох как полезны. До ее слуха донесся голос хозяина:

— Это серый мрамор, отменного качества. Доставили для мистера Ветмора.

— А выбито почему-то «Уайт», — ледяным тоном заметила Леота.

— Совершенно верно. Это фамилия того, кому предназначалось надгробие.

— Он и есть покойник? — уточнила Леота, чтобы выиграть время.

Хозяин кивнул.

— Что я говорила! — воскликнула Леота. Уолтер застонал, давая понять, что никуда отсюда не двинется. — Здесь даже пахнет кладбищенским духом, — говорила Леота, следя, как в глазах Уолтера загорается недобрый огонь.

Хозяин пояснил:

— Мистер Ветмор, который тут квартировал, учился на камнереза — это был у него первый заказ, вот он и тюкал долотом что ни вечер, с семи до десяти.

— Ну-ну... — Леота быстро огляделась в поисках мистера Ветмора. — А сам-то он где? Или тоже помер? — Игра пришлась ей по душе.

— Нет, просто разуверился в своих силах, махнул рукой на это надгробие и устроился на фабрику клеить конверты.

— С чего это?

— Ошибка у него вышла. — Хозяин постукал пальцами по высеченной в мраморе фамилии. — Вырезал «Уайт». А пишется не так. Должно быть «Уэйт», с буквой «э» вместо «а». Бедняга Ветмор. Никакой веры в себя. Отступил, спасовал из-за малейшей оплошности.

— Ах ты, мать честная. — Уолтер, еле волоча ноги, протиснулся в комнату и начал без оглядки на Леоту распаковывать потертые коричневые чемоданы. Хозяин решил продолжить:

— Вот я и говорю, мистер Ветмор сдался без боя. Судите сами, какой он был впечатлительный: по утрам заваривает себе кофе, и если хоть каплю прольет, это прямо катастрофа: выплеснет в раковину всю чашку и целую неделю на кофеварку даже не глядит! Слыханное ли дело! Любая мелочь выбивала его из колеи. Если случайно надевал левую туфлю прежде правой, то и вовсе не обувался — просто расхаживал до вечера босиком, даже в холод. Или вот еще: приходит ему письмо, а фамилию на конверте переврали, так он сверху пишет: «Адресат неизвестен» — и бросает в почтовый ящик. Уникум, да и только, этот мистер Ветмор.

— Нам от этого ни жарко ни холодно.— Леота хранила мрачность.— Уолтер, чем ты там занимаешься?

— Вешаю в шкаф твоё платье — красное шелковое.

— Сейчас же прекрати, мы здесь не останемся.

Хозяин тяжело выдохнул, не в силах примириться с женской косностью:

— Объясняю еще раз. Мистер Ветмор взял работу на дом: нанял грузовик и привез сюда эту плиту, а я как раз вышел в магазин за индейкой, возвращаюсь и уже снизу слышу: тук-тук-тук — мистер Ветмор осваивает резьбу по мрамору. И так он был горд собою, что у меня язык не повернулся

сделать ему замечание. А он до того возгордился, что вырубил не ту букву, все бросил и ни слова не говоря сбежал; за комнату-то у него уплачено до вторника, так он даже не попросил деньги вернуть, а я на завтра вызвал грузчиков с лебедкой — придут с утра пораньше. Ничего страшного не случится, если эта штукавина у вас ночку постоит, верно? Что тут такого?

Муж кивнул:

— Поняла, Леота? Никакого мертвеца под ковром нету.

За такой надменный тон Леота чуть не дала ему пинка. Она не поверила. И твердо решила не отступаться.

Леота ткнула пальцем в сторону хозяина:

— Этому лишь бы карман набить. А тебе, Уолтер, лишь бы где-нибудь кости бросить. Оба врете без зазрения совести!

Простак из Оклахомы устало выложил деньги, невзирая на протесты Леоты. Хозяин повел себя так, словно она для него — пустое место, пожелал постояльцам доброй ночи и, пропустив мимо ушей ее вопль «Обманщик!», прикрыл за собой дверь и оставил их наедине. Муж разделся и нырнул под одеяло, бросив:

— Нечего таращиться на этот камень, гаси свет. Четверо суток тряслись в машине, меня уже ноги не держат.

Руки Леоты, сцепленные на худосочной груди, задрожали.

— Никому из нас троих,— изрекла она, кивая в сторону надгробья,— покоя не будет.

Минут через двадцать, встревоженный каким-то шорохом и движением, оклахомский стервятник высунул из-под одеяла хищную физиономию и с дурацким видом заморгал:

— Леота, чего не спишь? Кому сказано: гаси свет и ложись. Что ты там возишься?

Нетрудно было догадаться, что она затеяла. Подобравшись на четвереньках к могильному камню, она установила подле него стеклянную банку со свежим букетом красной, белой и розовой герани, а вторую банку, жестяную, с букетом роз, поставила в ногах воображаемой могилы. На полу валялись еще не обсохшие садовые ножницы, которыми только что были срезаны под покровом темноты росистые цветочные стебли.

Между тем Леота взяла комнатный веник и проворно обмахнула пестрый линолеум и лысый ковер, сопровождая свои действия молитвой и стараясь, чтобы муж слышал только бормотание, но не разбирал слов. Потом она выпрямилась в полный рост, трепетно перешагнула через могилу, дабы не потревожить покойника, и обошла стороной несчастное место, приговаривая:

— Ну вот, дело сделано.

Погасив свет, она улеглась на кровать, и пружины жалобно заскрипели в тон ее благоверному, который вопрошал:

— Господи, когда ж это кончится?!

А она отвечала, вглядываясь во мрак:

— Не может мертвец покоиться с миром, если прямо над ним невесть кто дрыхнет. Пришлось его задобрить: убрала могилку цветами, чтоб он среди ночи не надумал расхаживать да костями греметь.

Муж посмотрел сквозь темноту в ее сторону, но не смог придумать ничего путного; он коротко ругнулся, застонал и снова провалился в сон.

Не прошло и получаса, как она схватила его за локоть и заставила повернуться, чтобы ловчее было с жаром нашептывать ему в ухо, как в пещеру.

— Уолтер, проснись! — зачастила она. — Проснись! — Она приготовилась бормотать хоть всю ночь, лишь бы только перебить сладкий сон оклахомскому мужлану.

Он вырвал руку:

— Ну, что еще?

— Это мистер Уайт! Мистер Уайт! Он оборачивается привидением!

— Спи, сделай милость!

— Точно говорю! Ты прислушайся!

Он прислушался. Из-под линолеума, с глубины футов шести, доносился приглушенный, скорб-



ный мужской голос. Слов было не различить, только горькие сетования.

Муж приподнялся в постели. Леота уловила его движение и возбужденно зашипела:

— Слышал? Слышал?

Он спустил ноги с кровати на холодный линолеум. Теперь внизу звучал фальцет. Леота разрыдалась.

— Умолкни, дай послушать,— рассердился муж.

В гнетущей тишине он приник к полу, приложил ухо к линолеуму, и тут Леота прикрикнула:

— Цветы не сверни!

Муж цыкнул: «Заткнись!» — и замер, обратившись в слух, а потом выругался и вернулся под одеяло.

— Это сосед снизу,— пробурчал он.

— Вот и я говорю: мистер Уайт!

— При чем тут мистер Уайт? Мы с тобой — на втором этаже, но ведь на первом тоже кто-то живет. Вот послушай.

Фальцет не умолкал.

— Это его супружница. Не иначе как вправляет ему мозги, чтоб не заглядывался на чужих жен! Видно, оба хватили лишнего.

— Не выдумывай! — упорствовала Леота. — Хорохоришься, а сам со страху трясешься, чуть кро-

вать не опрокинул. Сказано тебе, это привидение, оно говорит на разные голоса. Помнишь, как бабушка Хэнлон: привстанет в церкви со скамьи и давай шпарить на все лады: сперва как негр, потом как ирландец, дальше — как две кумушки, а то еще заквакает, словно у ней лягухи в зобу! А этот покойник, мистер Уайт, не может простить, что мы его на ночь глядя потревожили. Я знаю, что говорю! Ты слушай!

Будто в подтверждение ее слов, доносившиеся снизу голоса окрепли. Приподнявшись на локтях, уроженец Оклахомы обреченно покачал головой, но не нашел в себе сил рассмеяться.

Раздался грохот.

— Он в гробу ворочается! — завизжала Леота. — Злитесь! Надо уносить ноги, Уолтер, иначе до утра не доживем!

И опять что-то упало, стукнуло, заговорило. Потом все смолкло. Зато в воздухе, у них над головами, слышались шаги.

Леота заскулила:

— Он выбрался из гроба! Выбил крышку и топчет прямо над нами!

К этому времени оклахомский деревенщина уже оделся и теперь зашнуровывал ботинки.

— В доме три этажа, — сказал он, заправляя рубашку в брюки. — Соседи сверху только-только воротились к себе. — Видя, как Леота заливается

слезами, он добавил: — Собирайся. Отведу тебя наверх. Поздороваемся, поглядим, что за люди. Потом спустимся на первый этаж — разберемся с этим пьянчугой и его женой. Вставай, Леота.

В дверь постучали.

Леота издала пронзительный вопль, заметалась в постели и оцепенела под одеялом, как мумия.

— Опять он в гробу — стучится, хочет выйти!

Смельчак-оклахомец включил свет и отворил дверь. На пороге пританцовывал невысокий, довольного вида человечек в темном костюме.

— Виноват, прошу прощения, — заговорил незнакомец. — Меня зовут мистер Ветмор. Я отсюда съехал. Но теперь вернулся. Мне выпало баснословное везенье. Честное слово. Мой камень еще здесь? — Он смотрел в упор на мраморную плиту, но от волнения ничего не замечал. — А, вижу, вижу! О, здравствуйте! — Только теперь он заметил Леоту, которая выглядывала из-под кипы одеял. — Я привел грузчиков, и, если вы не против, мы его заберем — прямо сейчас. Это минутное дело.

Муж благодарно рассмеялся:

— Наконец-то избавимся от этой хреновины. Валяйте!

Мистер Ветмор призвал в комнату двоих здоровенных работяг. Он задыхался, не веря своей удаче.

— Надо же! Еще утром я был растерян, подавлен, убит горем, но потом произошло чудо.— Камень уже перекочевал на низкую тележку.— Час назад я совершенно случайно услышал, что некий господин умер от воспаления легких, и фамилия его — Уайт. Заметьте, именно Уайт, а не Уэйт! Я тут же отправился к вдове — и оказалось, она не прочь выкупить готовый памятник. Подумать только: мистер Уайт еще остыть не успел, и фамилия его пишется через «а». Счастье-то какое!

Камень выкатили из комнаты, мистер Ветмор и его новый знакомец из Оклахомы посмеялись, пожали друг другу руки, а Леота недоверчиво следила за происходящим.

— Вот и делу конец,— ухмыльнулся ее муж, запирая дверь за мистером Ветмором, и поспешно бросил цветы в раковину, а банки — в мусорную корзину. В темноте он снова залез под одеяло, не заметив долгого, гнетущего молчания жены. Не произнося ни слова, она лежала в кровати и терзалась от одиночества. Муж — отметила она про себя — со вздохом расправил одеяло.

— Теперь можно и забыться. Без этой чертовщины. Времени-то всего пол-одиннадцатого. Еще успеем выспаться.— Лишь бы отравить ей удовольствие!

Леота как раз собралась что-то сказать, когда снизу опять донесся стук.

— Вот! Вот! — победно закричала она и вцепилась в мужа. — Опять то же самое, я не зря говорю. Вот слушай!

Муж сжал кулаки и стиснул зубы.

— Сколько можно? По башке, что ли, тебе дать, женщина, если иначе не понимаешь? Отстань от меня. Ничего там...

— Нет, ты слушай, слушай, слушай, — требовала она шепотом.

В кромешной тьме оба стали прислушиваться.

Где-то внизу стучали в дверь.

Потом дверь отворили. Приглушенный, слабый женский голос печально произнес:

— Ах, это вы мистер Ветмор.

Тут кровать Леоты и ее мужа-оклахомца вдруг заходила ходуном, а снизу, из темноты, раздался голос мистера Ветмора:

— Еще раз добрый вечер, миссис Уайт. Принимайте. Вот вам надгробный камень.

## *Нечисть над лестницей*

Ехать предстояло с пересадкой.

Сойдя в Чикаго, он выяснил, что до поезда еще целых четыре часа.

Первой мыслью было отправиться в музей — полотна Ренуара и Моне никогда не оставляли его равнодушным. Почему-то сейчас он заторопился. На привокзальной площади вереницей выстроились такси.

А почему бы, подумал он, не взять машину и не отправиться за тридцать миль к северу, чтобы провести хотя бы час в родном городке, а потом вторично сказать ему «прощай» — и укатить обратно, сесть на поезд, идущий до Нью-Йорка, и преспокойно продолжить путь, возможно даже, с новыми впечатлениями?

Сиюминутная прихоть грозила обойтись недешево, но почему бы и нет, черт побери? Он открыл

дверцу машины, погрузил чемодан и скомандовал:

— До Грин-Тауна и обратно!

Водитель, расплывшись в довольной улыбке, включил счетчик в тот самый миг, когда устроившийся на заднем сиденье Эмиль Креймер хлопнул дверцей.

В Грин-Таун, подумал он, а там...

Нечисть на чердаке.

Что?

Ну и ну, подумал он, с чего это в такой чудный весенний денек вспоминается всякая гадость?

В сопровождении эскорта облаков машина неслась к северу и ровно в три часа остановилась на главной улице Грин-Тауна. Он вышел, вручив таксисту залог в полсотни долларов, попросил подождать и огляделся.

Холщовый транспарант, растянутый на фасаде старого кинотеатра «Дженеси», слепил кроваво-красными буквами: «Фильмы ужасов “Дом безумия” и “Доктор Смерть”. Купи билет. Выхода нет».

Это не по мне, сказал про себя Креймер. То ли дело — Фантом. С шести лет не могу его забыть. То оцепенеет, то закружится, то разинет рот, то уставится, весь бледный, прямо в камеру — вот где ужас-то!

Между прочим, спросил он себя, не Фантом ли, а вместе с ним и Горбун и Вампир, отравили мне детство кошмарами?

И, шагая по городу, он невесело усмехнулся от этих воспоминаний...

За завтраком мать ставила перед ним кукурузные хлопья с молоком и начинала сверлить взглядом: что там стряслось ночью? Опять видел Нечисть? Неужто она снова прыгнула на тебя из темноты? Какого роста, какого цвета? Как же ты сдержался, чтобы не закричать, не разбудить папу? Я с кем разговариваю?

Между тем отец, поглядывая на них из-за газетной стены, то и дело косился на ремень для бритвы, который висел возле кухонной раковины и сам просился в руки.

А сам он, шестилетний Эмиль Креймер, сидел за столом и вспоминал колющую боль в паху, которая настигала его всякий раз, когда он вставал ночью по нужде и в последний момент сталкивался с Нечистью, бросавшейся на него сверху, с темного чердака; тогда у него вырывался истощенный вопль, и он, как перепуганный щенок или ошпаренный кот, кубарем скатывался по ступенькам, ослепленный ужасом, и вжимался в пол, не переставая выть: почему? за что? что я такого сделал? в чем я виноват?



И ползком пробирался назад по темному коридору, а потом ощупью возвращался в кровать, захлебываясь в мучительных приливах страха, и молился, чтобы поскорее наступил рассвет и Нечисть убралась восвояси — то ли сквозь засаленные обои, то ли сквозь трещины у порога.

Как-то раз он спрятал под кроватью ночной горшок. Но его нашли и выбросили. В другой раз набрал воды из крана, чтобы окатить Нечисть, но отец это услышал — он вообще улавливал любые звуки, как антенна, — пришел в ярость и задал ему жестокую взбучку.

Да, было дело, сказал он себе, шагая по городу, который мало-помалу окрашивался цветом непогоды. Вот и улица, где он когда-то жил. Солнце скрылось. Небо заволокли по-зимнему мрачные сумерки. Он ахнул.

Потому что ему на нос упала одинокая дождевая капля.

— Что я вижу! — засмеялся он. — Да ведь это он и есть! Мой дом!

У дома было нежилой вид, а на тротуаре стояла табличка: «Продается».

Обшитый светлым деревом фасад, с одной стороны — терраса, с другой — крыльцо. Все та же входная дверь, за ней гостиная, где он укладывался на раскладушку рядом с братом и мучился до са-

мого утра, пока все домашние мирно спали и видели сны. А справа столовая и коридор, упирающийся в ступени — путь к вечному мраку.

Он пошел по дорожке, ведущей к крыльцу.

А в самом деле, какой она была на вид, эта Нечисть,— какого цвета, какого размера? Может, у нее из ноздрей валил дым, из пасти торчали клыки, а глаза горели адским огнем, как у собаки Баскервильей? Может, она издавала шипение, ропот, стоны?..

Он покачал головой.

Ведь нечистой силы не бывает, правда?

Потому-то отец так скрежетал зубами, глядя на своего трусишку сына, позор семьи! Ну разве не ясно, что в коридоре никого нет, никого? Как втолковать этому сопляку, что вся нечисть крутится только лишь у него в башке, словно в кинобудке, и оттуда пригоршнями швыряет в него хлопья страха, которые тают в душном воздухе?

Тук-тук! — Это отец бил его по лбу костяшками пальцев, чтобы изгнать призрака. Тук-тук!

Эмиль Креймер широко раскрыл глаза и не смог вспомнить, когда успел зажмуриться. Он поднялся на крыльцо. Тронул дверную ручку.

О господи! — мелькнуло в голове.

Потому что дверь, стоявшая незапертой, стала медленно открываться.

Темное чрево пустого дома замерло в ожидании.

Он толкнул дверь. Едва слышно скрипнув петлями, створка легко распахнулась внутрь.

Все тот же мрак, что всегда висел в доме траурным пологом, окутывал узкую, как гроб, прихожую. Там витали дожди прошлых лет и мерцали проблески, что когда-то заглянули сюда на минутку и остались навсегда...

Он ступил через порог.

В тот же миг на улице хлынул ливень. Потoki воды стеной отгородили весь остальной мир. В этих потоках дощатое крыльцо сразу пропиталось сыростью, а дыхание Эмиля Креймера сделалось совсем неслышным.

Он сделал еще один шаг в непроглядную тьму.

В конце коридора, где три ступеньки вели в уборную, не горел свет...

Вот именно! В том-то все и дело!

Из экономии там всегда выключали свет.

Чтобы отпугнуть Нечисть, приходилось бежать во весь дух, запрыгивать сразу на третью ступеньку и дергать за шнурок выключателя, чтобы зажглась лампочка!

Ослепленный страхом, натыкающийся на стены, он *вечно не мог нащупать этот шнурок!*

Главное — не смотреть вверх, молча твердил он. Если ты увидишь Нечисть, она тут же тебя заметит! Нет! Нет!

Но потом голова начинала подрагивать и поднималась сама собой. Глаза устремлялись вверх. Из рта вырывался вопль!

Потому что над головой маячила темная Нечисть, которая выжидала момент, чтобы прихлопнуть твой крик, словно крышкой гроба!

— Есть кто дома?... — негромко спросил он.

Сверху потянуло промозглым сквозняком. Запахи земляного погребца и пыльного чердака коснулись щек.

— Я иду искать, — прошептал он. — Кто не спрятался — я не виноват.

У него за спиной медленно и почти беззвучно закрылась наглухо входная дверь.

Он так и обмер.

Потом заставил себя сделать еще один шаг. И еще.

Силы небесные! Он явственно ощутил, что делается... меньше ростом. Тает дюйм за дюймом, сжимается, лицо преобразается в маленький овал, а костюм и туфли становятся велики...

Зачем я здесь? — подумалось ему. — Что ищу?

Ответы. Да. Это так. Ответы.

Носок правой ноги коснулся...

Нижней ступеньки.

Он ахнул. Непроизвольно отдернул ногу. Потом заставил себя вновь коснуться ступеньки, только очень медленно.

Спокойно. Главное — не смотреть вверх.

Идиот! — обругал он себя. — Вот зачем ты здесь. Чтобы подняться по этим ступенькам. На самый верх. Вот что тебе здесь нужно!

Давай...

Он *не спеша* поднял голову.

И увидел прямо над собой, футах в шести, мертвенно-белую глазницу, а в ней — темную лампочку.

Далекую, как луна.

У него дрогнули пальцы.

Где-то за стеной ворочалась во сне мать, брат разметался на застиранной сбившейся простыне, а отец перестал храпеть и начал прислушиваться.

Быстрее! Покуда он не проснулся! Одним прыжком!

Сдушераздирающим криком он прыгнул вперед. Ноги опустились на третью ступеньку. Рука ухватила шнурок выключателя. Дерг! Еще раз!

Не сработало! О боже. Света нет. Все впустую. Как эти потерянные годы.

Шнурок змеей выскользнул из пальцев. Рука упала.

Ночь. Тьма.

Снаружи холодный дождь стучался в закрытую дверь подземелья.

Он открыл и зажмурил глаза, открыл, зажмурил, как будто каждое движение век дергало вниз

шнурок, чтобы включить свет! Сердце колотилось не только в груди, но и под мышками, и в ноющем паху.

Он качнулся. Чуть не упал.

Нет! — молча вскричал он. — Ты должен себя освободить. Смотри! Не отводи взгляда!

В конце концов он заставил себя поднять голову и всмотреться в многоступенчатый мрак.

— Нечисть?.. — шепотом окликнул он. — Ты там?

Под тяжестью его тела дом слегка изменил положение, точно исполинские весы.

Высоко во мраке выбросили черный флаг, зная тьмы то разворачивало, то сматывало свое шуршащее полотнище, как погребальный покров.

Главное — помни, что снаружи сейчас весна, наказал он себе.

Дождевые струи исподволь стучали в дверь у него за спиной.

— Вперед, — шепотом скомандовал он.

И, пошатываясь между холодными, запотевшими стенами, двинулся по ступеням на самый верх.

— Я уже на четвертой ступеньке, — шептал он.

— Теперь на пятой...

— На шестой! Слышишь, ты, Нечисть?

Молчание. Темнота.

Боже правый, подумал он, надо бежать во весь дух, выскочить под дождь, там светло!..

Нет!

— Седьмая! Восьмая.

Сердце билось под мышками и в паху.

— Десятая...

У него дрогнул голос. Набрав полную грудь воздуха, он...

Захохотал! Вот так-то! Захохотал!

Как будто разбил стекло. Страх рассыпался вдребезги, разлетелся в разные стороны.

— Одиннадцать! — кричал он. — Двенадцать! — И еще громче. — Тринадцать! — С гиканьем. — Четырнадцать!

Как же он не додумался до этого прежде, когда ему было шесть лет? Просто добежать до самого верха и своим хохотом извести Нечисть раз и навсегда!

Последний, заветный прыжок.

— Шестнадцать!

Вот и площадка. Его душил смех.

Он ткнул кулаком прямо перед собой, в густую холодную тьму.

Смех оборвался, в горле застрял вопль.

Он вдохнул зимнюю ночь.

«Почему? — эхом донеслось из другого времени. — За что? В чем я виноват?»

Сердце остановилось, потом застучало с новой силой.

В паху пробежала судорога. Обжигающий залп горячей жидкости — и по ногам заструился постыдный ручей.

— Нет! — закричал он.

Потому что коснулся пальцами чего-то такого...

На чердаке поджидала Нечисть.

Она волновалась, что он где-то пропадал.

Она так долго ждала...

Чтобы он вернулся домой.



## *Подлинная египетская мумия работы полковника Стоунстила*

Стояла та самая осень, когда на дальнем берегу Гагачьего озера нашли подлинную египетскую мумию.

Как она туда попала и сколько ждала своего часа, никто не знал. А она и не пряталась — лежала себе в просмоленной ветоши, лишь слегка тронутая временем.

Накануне был день как день: багряные кроны деревьев роняли отгоревшую листву, в воздухе плыл острый перечный запах, а двенадцатилетний Чарли Флэгстафф, выйдя на середину безлюдного переулка, мечтал, чтобы с ним произошла какая-нибудь значительная, увлекательная, невероятная история.

— Эй,— воззвал он к небу и горизонту, ко всему белому свету.— Я жду. Ну!

И все равно ничего не произошло. Тогда Чарли, взрывая башмаками вороха сухих листьев, по-

брел на другой конец города и остановился на самой большой улице, перед самым большим домом, куда приходили все жители Грин-Тауна, если у них что-то не ладилось. Чарли хмурился и переминался с ноги на ногу. У него явно что-то не ладилось, только он не знал, что именно и до какой степени. Поэтому он просто зажмурился и прокричал в сторону окон:

— Полковник Стоунстил!

Парадная дверь мгновенно распахнулась, будто старик уже давно стоял на пороге и, как Чарли, ожидал чего-то необыкновенного.

— Чарли, — сказал полковник, — в твоём возрасте положено стучаться. Интересная у ребят манера — непременно кричать с улицы. Давай-ка ещё разок.

Дверь захлопнулась.

Мальчик вздохнул, поднялся на крыльцо, робко постучал.

— Чарли Флэгстафф, ты ли это? — Дверь отворилась. Полковник высунул голову и прищурился, глядя сверху вниз. — Я, кажется, ясно сказал: *непременно кричать с улицы!*

— Ничего не понимаю, — окончательно расстроился Чарли.

— Погодка-то какая. Красотища! — Полковник шагнул в осеннюю прохладу, держа по ветру внушительный нос-колун. — Ты что, не любишь

это время года, дружище? Прекрасный, прекрасный день! Верно?

Обернувшись, он взгляделся в бледное мальчишеское лицо.

— Можно подумать, сынок, у тебя все друзья разбежались и собака сдохла. Что случилось? На следующей неделе в школу?

— Ага.

— Да и Хэллоуин еще не скоро?

— Через полтора месяца. Ждать и ждать. А как вы думаете, полковник...— вздохнул мальчик совсем горестно, уставясь вдаль на осенний город,— почему у нас в городе ничего не происходит?

— Так уж и ничего — завтра, к примеру, День труда: праздничное шествие, семь автомобилей, мэр, возможно, фейерверк... э-э-э...— Полковник осекся: этот унылый, как счет от бакалейщика, перечень его ничуть не вдохновил.— Тебе сколько лет, Чарли?

— Тринадцать. Скоро будет.

— Да, в тринадцать жизнь идет наперекосяк.— Полковник закатил глаза, перебирая зыбкие воспоминания внутри черепной коробки.— В четырнадцать — и вовсе заходит в тупик. В шестнадцать — хоть ложись да помирай. В семнадцать — конец света. А там терпи лет до двадцати, чтобы дела пошли на лад. Скажи-ка, Чарли, как челове-

ку накануне праздника дотянуть хотя бы до полудня?

— Это вам лучше знать, полковник.

— Чарли,— произнес старик, избегая пристального мальчишеского взгляда,— я могу переставлять политиков, больших, что твои боровы, могу двигать скелетами в музей городской ратуши, могу заставить локомотивы подниматься в гору задним ходом. Но как быть с мальчишками, у которых перед осенними праздниками плавают мозги от последней стадии Пустой Безнадеги? Впрочем...

Полковник Стоунстил, воздев глаза к облакам, просчитал будущее.

— Чарли,— произнес он наконец,— мне не безразлично твое настроение, мне не все равно, если ты лежишь на заброшенных рельсах и ждешь поезда. Вот что... Держу пари, в ближайшие сутки город Грин-Таун в штате Иллинойс, с населением в пять тысяч шестьдесят два человека и тысячу собак, изменится до неузнаваемости — ей-богу, чудесным образом изменится к лучшему. Если я проспору — с меня полдюжины шоколадок, а если проспоришь ты — подстрижешь мою лужайку. По рукам? Спорим?

— Вот это да! — Чарли, сраженный наповал, затряс руку старика. — Спорим! Полковник Стоунстил, я знал, что вы все можете!

— Ничего еще не сделано, сынок. Лучше посмотри туда. Город — Красное море. Я повелеваю ему: *рассступись!* Мы идем!

Старик, чеканя шаг, направился в дом; Чарли побежал следом.

— Итак, Чарльз: либо на свалку, либо на погост. Куда?

Полковник повел носом сперва в сторону той двери, за которой скрывалась земляная сырость погреба, затем в сторону той, что вела на сухой деревянный чердак.

— Даже не знаю...

Чердак, словно умирая во сне, мучительно вздрогнул от налетевшего сквозняка. Полковник рванул на себя дверь, и осенние шепоты сразу вырвались на волю, а ветер, угодивший в ловушку, заметался под кровлей.

— Слышишь, Чарли? Разбираешь слова?

— Ну...

Подгоняемый сквозняком, как пучок соломы, полковник устремился вверх по темной лестнице.

— Слова все больше такие: время, и старость, и память — много чего. Прах и боль — кажется, так. Да ты послушай, о чем скрипят балки! Погожей осенью только дай ветрам потревожить этот деревянный скелет, и он уж точно заговорит тебя

надолго. Расскажет про пламя и пепел, про бомбейское зелье, про кладбищенские цветы-привидения...

— Ничего себе,— выдохнул Чарли, карабкаясь вслед за стариком.— Вам бы для журналов рассказы сочинять!

— Раз попробовал! Забраковали. Ну вот, теперь мы у цели!

И впрямь, они оказались у цели — где не было ни календаря, ни месяцев, ни дней, ни лет, только длинные паучьи тени да блики сломанных канделябров, огромными слезами застывших в пыли.

— Вот это да! — воскликнул Чарли от радостного ужаса.

— Спокойно! — осадил полковник.— Ты готов к тому, чтобы прямо здесь для тебя родилось на свет настоящее сногшибательное полумертвое чудо?

— Готов!

Смахнув со стола чертежи, карты, агатовые шарики, стеклянные глаза-обереги, паутину и клочья пыли, старик закатал рукава.

— Вот что радует: когда принимаешь новорожденное чудо, не нужно кипятить воду и мыть руки. Подай-ка мне вон тот свиток папируса, мальчик мой; за ним поищи штопальную иглу; достань с полки старый диплом; подними с пола упаковку ваты. Шевелись!

— Я мигом.— Чарли бежал и приносил, приносил и снова бежал.

Во все стороны летели засохшие веточки, пучки вербы и рогоза. Шестнадцать рук полковника сновали в воздухе и ловко орудовали шестнадцатью блестящими иголками, обрезками кожи, шорохом луговой травы, дрожью совиных перьев, искрами рыжих лисьих глаз. Сам он пыхтел и невнятно фыркал, а все восемь пар волшебных конечностей кружили и пикировали, танцевали и укладывали стежки.

— Ну вот! — показал он кончиком носа.— Наполовину готово. Обретает форму. Приглядись-ка, дружок. Что здесь начинает вырисовываться?

Обогнув стол, Чарли так выгаращил глаза, что рот открылся сам собой.

— Да ведь... да ведь...— забормотал он.

— Ну?

— Это же...

— Ну? Ну?

— Мумия! *Не может быть!*

— Может! Дьявол меня раздери, парень! *Может!*

Полковник навис над столом. Погрузив пальцы глубоко внутрь своего творения, он прислушивался к его шепоту, возникшему из тростника, чертополоха и сухих цветов.

— Резонно будет, если ты спросишь, зачем *создавать* мумию? Ты, ты вдохновил меня на это, Чарли. Ты меня к этому побудил. Иди-ка, посмотри в окно.

Мальчик поплевал на стекло и оттер от пыли и грязи небольшой кружок.

— Ну-с,— заговорил полковник.— Что ты видишь, парень? Как там дела в городе? Не замышляется ли убийство?

— Скажете тоже...

— Не бросается ли кто-нибудь вниз головой с колокольни? Не истекает ли кровью под взбесившейся газонокосилкой?

— Не-а.

— Не бороздят ли озеро железные «Мониторы» и «Мерримакс», не падают ли дирижабли на масонский храм, не погребают ли под руинами шесть тысяч масонов единым махом?

— Скажете тоже, полковник,— у нас в Грин-Тауне всего-то пять тысяч жителей!

— Гляди в оба, парень. Ищи. Высматривай. Докладывай!

Чарли пристально смотрел на плоский, как блин, городок.

— Дирижаблей не обнаружено. Масонских руин не обнаружено.

— Молодец! — Подскочив к окну, старик остановился рядом с Чарли и тоже начал производить



осмотр местности. Он указывал в разные стороны то рукой, то носом.— В этом городе за всю твою жизнь не было ни убийства, ни пожара в сиротском приюте, ни жестокого маньяка, вырезающего свое имя на женских ногах! Согласись, парень: Грин-Таун, что на севере штата Иллинойс,— самый неинтересный, безрадостный, захудалый, тоскливый городишко за всю историю Римской, Германской, Русской, Английской и Американской империй! Если бы здесь родился Наполеон, к девяти годам он бы сделал себе харакири. От скуки. Если бы здесь рос Юлий Цезарь, в десять лет он бы пробрался на римский Форум и заколол себя собственным кинжалом...

— От скуки,— подхватил Чарли.

— Пра-а-ально! Следи за городом, сынок, а я еще поработаю.— Полковник Стоунстил вернулся к скрипучему столу и продолжил мять, ворочать и поколачивать странную, растущую под его руками фигуру.— Скуки здесь — навалом: отвешивай хоть фунты, хоть тонны. Скуки здесь — без конца и края: отмеряй хоть загробные ярды, хоть замогильные мили. Лужайки, дома, собачья шерсть, людские волосы, костюмы, что пылятся на витринах,— все одинаково унылое...

— От скуки,— договорил за полковника Чарли.

— А как развеять скуку, сынок?

— Не знаю... разбить окно в заброшенном доме с привидениями?

— Вот незадача, парень: в Грин-Тауне нет таких домов!

— Был один. Да и тот снесли.

— Вот и я говорю. Ладно... что еще приходит на ум?

— Устроить резню?..

— Резни тут отродясь не бывало. Подумать только, у нас даже шеф полиции — честный человек! Даже мэр — неподкупный! С ума сойти. Весь город погряз в болоте зеленой тоски! Последняя попытка, Чарли: что еще можно придумать?

— Сотворить мумию? — повеселел Чарли.

— Верно, палки-моталки! Учись, пока я жив!

Старик, не умолкая, пускал в дело ветхое чучело совы, крючковатый хвост ящерицы, пропахшие никотином бинты, завалявшиеся с 1895 года, когда он в один день сломал и лодыжку, и приятную интрижку, только-только приехав на горнолыжный курорт; резиновые заплатки для автокамеры машины «киссел-кар» 1922 года; отгоревшие бенгальские огни последнего мирного лета 1913-го, — и все это переплеталось, сливалось воедино под ловкими костлявыми пальцами.

— Вау! Гляди, Чарли! Готово!

— Вот это да! — У мальчишки отвисла челюсть. — Полковник, а можно я еще сделаю корону?

— Сделай корону, парень. Сделай.

Когда солнце уже стало клониться к закату, полковник и Чарли, а с ними их египетский друг спустились по скудно освещенной черной лестнице; шаги первых двух были тяжелы, как железные молоты, а третий то и дело подпрыгивал кверху, словно воздушная кукуруза над сковородой.

— Ну хорошо, мы обзавелись мумией, а что с ней делать, полковник? — недоумевал Чарли. — Ни поговорить, ни побегать...

— Этого нам с тобой и не требуется, парень. А вот горожане и заговорят, и забегают. Выгляни-ка на улицу!

Они отворили скрипучую дверь и увидели все тот же город, придушенный покоем, пораженный бездействием.

— Даже если ты, парень, сумел оправиться от Пустой Безднадеги, этого еще недостаточно. Город сжался, как часовая пружина, только вот циферблат оказался без стрелок, а из-за этого утром страшно просыпаться: вдруг настало вечное воскресенье! Как по-твоему, парень, кто избавит нас от этой напасти?

— Амон Бубастис Рамзес Ра Третий, прибывший спецрейсом в шестнадцать ноль-ноль?

— Да, парень, истинно так. У нас теперь есть исполинское семечко. Чтобы от него был толк, нужно его... *что?*

— Наверно... — поразмыслил Чарли, зажмурив один глаз, — посадить?

— Посадить! Затем понаблюдать, как оно дает всходы! А потом? Собрать урожай. Урожай! Вперед, сынок. Э-э-э... веди своего приятеля.

Полковник, крадучись, вышел в ранние сумерки.

За ним, поддерживаемая Чарли, вышла мумия.

В разгар Дня труда из Царства Мертвых явился Озирис Бубастис Рамзес Амон-Ра-Тот.

Земля дрожала, повсюду распахивались двери, но не от порывов осеннего ветра и не от грохота праздничного шествия во главе с мэром города (семь автомобилей плюс оркестр из дудок и барабанов), а от топота растущей толпы, которая хлынула на улицы, приливной волной затопив лужайку перед домом полковника Стоунстила. Чарли с полковником не один час сидели на веранде в ожидании этого взрыва безумия, этого штурма Бастилии. Теперь, когда обезумевшие собаки кусали мальчишек за пятки, а мальчишки приплясывали

по краям толпы, полковник глядел сверху вниз на Творение (дело рук его и Чарли) и заговорщически улыбался:

— Итак, Чарли... Я выиграл пари?

— Еще бы, полковник!

— Тогда пошли.

По всему городу звонили телефоны, на кухнях пригорали обеды, а полковник выступил вперед, чтобы даровать собравшимся папское благословение.

В самой гуще толпы виднелась телега, запряженная лошадыо. На козлах, ошалеv от несказанной удачи, восседал Том Таппен, влaдeлeц еле живой пригородной фермы. Его бормотание заглушал восторженный рев толпы, потому что в повозке находился богатый урожай, созревший через четыре тысячи забытых лет.

— Да разольется великий Нил, да зарастет его устье,— выдохнул полковник, широко раскрыв глаза,— если это не настоящая мумия из Древнего Египта, завернутая в подлинный папирус и просмоленные лоскуты!

— Она самая! — крикнул Чарли.

— Она самая! — подхватили остальные.

— Вышел я утром пахать,— не унимался Том Таппен,— пашу себе и пашу. И вдруг — бац! Плуг вывернул из земли эту штуковину, прямо у меня

перед носом! Мне чуть худо не стало! Подумать только! Не иначе как египтяне три тыщи лет назад прошли через Иллинойс — а мы-то не знали! Откровение, иначе не скажешь! Прочь с дороги, ребята! Отвезу-ка я эту находку на почтамт. Пусть выставят для всеобщего обозрения! Но! Пошла!

Толпа отхлынула вместе с лошадей, телегой и мумией, оставив в покое старика полковника, который только что притворно ахал и таращил глаза.

— Чтоб мне сгореть, — прошептал он, — все идет как по маслу, Чарльз. Волнение, гомон, толки, безумные сплетни будут множиться до исхода тысячи дней или до Судного дня, смотря что наступит раньше!

— Так точно, полковник!

— Микеланджело нам в подметки не годится! Его «Давид» — может, и шедевр, только нынче он позабыт-позаброшен. То ли дело наша египетская диковинка... — Полковник прикусил язык, потому что мимо пробежал мэр.

— Полковник, Чарли, приветствую! Дозвонился до Чикаго. Завтра к утру нагрянут газетчики! А к полудню — музейная братия! Не рухнула бы наша торговая палата!

Мэр умчался догонять толпу.

Осенняя тучка опустилась на лицо полковника и зависла в складках у рта.

— Конец первого акта, Чарли. Теперь начинаем соображать быстро. На подходе второй акт. Мы ведь хотим, чтобы эта суматоха длилась вечно, согласен?

— Так точно...

— Пораскинь мозгами, парень. Что там вышло на кубике?

— На кубике выпало... а!.. два хода *назад*?

— Получи пять с плюсом, золотую звезду и сладкий пирожок! Господь дал, Господь и взял, так ведь?

Чарли взглянул в лицо старику и увидел, как того обуревают беспокойство.

— Так точно.

Полковнику было хорошо видно толпу, которая сгрудилась у почтамта в двух кварталах от его дома. Подоспевший оркестр из дудок и барабанов завел какой-то мотив, смутно напоминающий о Египте.

— На закате, Чарли,— прошептал полковник, закрыв глаза,— мы сделаем последний ход.

Какой был день! Спустя много лет люди повторяли: вот это был день! Мэр только успевал забежать домой, чтобы переодеться: он произнес три речи, возглавил две процессии (одну — вдоль по Мейн-стрит до конца трамвайного маршрута, другую — в обратном направлении), а в центре этих событий находился Озирис Бубастис Рамзес Амон-

Ра-Тот, который улыбался то направо, когда сила притяжения одолевала его хилое туловище, то налево, когда процессия заворачивала за угол. Битый час оркестр из дудок и барабанов, теперь значительно усиленный медными духовыми инструментами, подкреплялся пивом и разучивал торжественный марш из «Аиды», который потом был исполнен столько раз подряд, что женщины стали уносить домой ревущих младенцев, а мужчины ретировались в бары, чтобы хоть как-то успокоить нервы. Поговаривали о третьем параде и о четвертой торжественной речи, но сумерки застали город врасплох, и все, включая Чарли, разбрелись по домам ужинать — точнее, обсуждать новости.

Около восьми вечера Чарли с полковником отправились прокатиться сквозь листопад и благодатную тьму на машине марки «мун» выпуска 1924 года, которая начинала ворчать, как только это прекращал делать полковник.

— А куда мы едем?

— Надо подумать...— рассуждал полковник, управляя машиной легко и непринужденно, на философской скорости десять миль в час.— Сейчас все, включая твоих домашних, отправились на Гроссетскую пустошь, так? Слушают последние речи в честь Дня труда. Нашего мэра хлебом не корми — дай только поговорить с трибуны, праль-



но? Затем пожарные начнут палить из ракетниц. Отсюда следует, что почтампт — вкупе с мумией, вкупе с шефом полиции, который несет вахту, — окажется без прикрытия. Вот тогда должно произойти чудо. *Непреренно* должно произойти, Чарли. Спроси почему.

— Почему?

— Рад, что тебя это волнует. Видишь ли, парень, завтра проныры из Чикаго начнут спрыгивать с подножки поезда, как блинчики со сковороды: в городе запахнет жареным, в каждом углу будет чей-то длинный нос, чей-то глаз с лупой и микроскопом. Эти музейные ишейки вместе с прохиндеями из «Ассошиэйтед пресс» докопаются до сути и ославят нас на весь свет. А поэтому, Чарльз, мы с тобой должны...

— Всех оставить в дураках.

— Грубовато сказано, парень, но суть ты ухватил верно. Давай так рассуждать: жизнь — это иллюзион, вернее, *могла бы* стать волшебным представлением, если бы люди не отгораживались друг от друга. Людям надо подбрасывать хоть маленькую тайну, сынок. Так вот: пока в городе не примелькался наш египетский друг, пока он не надоел хозяевам, как назойливый визитер, нужно посадить его на верблюда и отправить по расписанию в обратный путь. Приехали!

На почтамте было темно, лишь в вестибюле горела одинокая лампочка. За огромной витриной, рядом с выставленной для обозрения мумией, застыл шериф; оба молчали, покинутые зеваками, которые отправились ужинать и глазеть на фейерверки.

— Чарли,— полковник достал пакет из грубой бумаги, внутри которого что-то загадочно булькало,— дай мне тридцать пять минут, чтобы подпоить шерифа. Затем ты, наострив уши, пробираешься в помещение, выполняешь мои команды и творишь чудо. Ну, была не была!

И полковник исчез.

За городской чертой выступление мэра сменилось фейерверками.

Взобравшись на квадратную крышу автомобиля, Чарли с полчаса глядел на яркие вспышки. Прикинув, что время, отведенное на спаивание, истекло, он перебежал через дорогу, мышью проскользнул на почтамт и притаился в темном углу.

— Почему бы,— говорил полковник, вклинившись между египетским фараоном и шерифом,— вам не оприходовать эту бутылочку, сэр?

— Плевое дело.— Шериф не возражал.

Полковник, наклонясь, разглядывал в полутьме золотой амулет на груди мумии.

— Вы верите в старинные предания?

— Какие еще предания? — не понял шериф.

— Вот тут начертаны иероглифы: если прочесть их вслух, мумия оживет и начнет ходить.

— Хрен собачий, — выговорил шериф.

— Вы только посмотрите на эти любопытные египетские символы! — настаивал полковник.

— Кто-то у меня очки свистнул. Читайте сами, — сказал шериф. — Пусть-ка этот сухарь перед нами походит.

Чарли воспринял это как сигнал к действию и, не выходя на свет, подкрался вплотную к египетскому правителю.

— Начнем. — Сложив ладонь корабликом, полковник незаметно сунул очки шерифа к себе в боковой карман и наклонился еще ближе к фараонову амулету. — Первый символ — ястреб. Второй — шакал. Третий — сова. Четвертый — желтый лисий глаз...

— Ну а дальше-то что? — поторопил шериф.

Полковник был рад стараться, его голос то повышался, то затихал, шериф согласно кивал головой, и вдруг все египетские картинки и слова пошли кругом; тут старик удивленно ахнул:

— Что делается, шериф, смотрите!

Шериф выпучил глаза.

— Мумия, — изрек полковник, — хочет выйти погулять!

— Быть такого не может! — закричал шериф. — Быть такого не может!

— Может, — прошелестело где-то рядом — похоже, из уст фараона.

Неведомая сила сдвинула мумию с места, подняла и увлекла к выходу.

— Эй! — завопил шериф со слезами на глазах. — Держи! Уйдет!

— Пойду-ка я следом, надо ее вернуть, — сказал полковник.

— *Да побыстрей!*

Мумия скрылась из виду. Полковник выбежал на улицу. Хлопнула дверь.

— Ну и дела. — Шериф потряс бутылку. — Пусто!

Перед домом Чарли полковник притормозил.

— Твои родители заглядывают на чердак, парень?

— Им там не разогнуться. Они меня отправляют, когда нужно что-нибудь найти.

— Отлично. Вытаскивай нашего египетского друга с заднего сиденья — он не страдает лишним весом, в нем и десяти кило не будет, ты с ним легко управился, Чарли. Это, доложу тебе, было зрелище! Ты выбегал из дверей, а казалось, будто мумия движется своим ходом. Видел бы ты физиономию шерифа!

— Надеюсь, ему за это не влетит.

— А, набьет себе шишку и сочинит душераздирающую историю. Не станет же он признаваться, что видел ходячую мумию, правда? Придумает отговорку, организует поиски, вот увидишь. Не мешкай, сынок, проводи наверх этого субъекта, хорошенько его спрячь и навещай каждую неделю. По ночам корми разговорами. А лет через тридцать—сорок поступишь так...

— Как? — не утерпел Чарли.

— В год, когда скука уже хлынет через край и закапает из ушей, когда город забудет про нынешнее пришествие и исход, ты проснешься утром и не захочешь подниматься с постели, не захочешь даже пошевелить ушами или поморгать, потому что все до смерти надоело... Вот в такое утро, Чарли, просто поднимись на захламленный чердак, вытащи оттуда мумию, подбрось ее на кукурузное поле и смотри, как будут неистовствовать совсем другие толпы. С того момента и с того дня для тебя, для города, для всех горожан настанет совсем другая жизнь. А теперь, парень, ступай — тащи, прячь!

— Жалко, что такой вечер кончился,— еле слышно сказал Чарли.— Может, покатаемся еще вокруг квартала, выпьем по паре стаканчиков лимонада у вас на веранде? И *этого* с собой захватим.

— Выпить лимонаду — это хорошо. — Полковник Стоунстил вдавил педаль в пол. Машина взревела и ожила. — За блудного фараонова сына!

Поздним вечером в День труда оба снова устроились на веранде в доме полковника; каждый, подставив лицо ветерку, прихлебывал лимонад, от которого во рту оставались крошки льда, и смаковал вкус невероятных событий.

— Ух, — сказал Чарли, — скорей бы увидеть заголовки в завтрашнем «Кларионе»: БЕСЦЕННАЯ МУМИЯ ПОХИЩЕНА, РАМЗЕС-ТОТ ИСЧЕЗ. УТРАЧЕНА ВЕЛИКАЯ НАХОДКА. ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ШЕРИФ ТЕРЯЕТСЯ В ДОГАДКАХ. ВОЗМОЖЕН ШАНТАЖ.

— Продолжай, парень. Складно у тебя выходит.

— От вас научился, полковник. Теперь ваша очередь.

— Что ты хочешь от меня услышать, парень?

— Про мумию. Что это такое? Из чего сделано? Откуда взялось? И вообще, как это понимать?

— Но, мальчик мой, ты же стоял рядом, помогал, *видел...*

Чарльз пристально поглядел на старика.

— Нет. — Глубокий вздох. — Расскажите своими словами, полковник.

Старик встал со своего места и остановился в полумраке меж двух кресел-качалок. Протянув руку, погладил прислоненный к дверному косяку древний шедевр домашнего изготовления — ни дать ни взять отборный табак и высушенный нильский ил.

В небе умирал последний праздничный фейерверк. Его отсветы гасли в лазуритовых глазах мумии, которая, как и мальчик, выжидательно смотрела на полковника.

— Хочешь знать, кем раньше был наш знакомец?

Полковник наскреб у себя в легких пригоршню праха и мягко выдохнул ее в осенний воздух.

— Он был всем, никем и кем-то.— Мгновение тишины.— Был тобой. И мной.

— Дальше,— прошептал Чарли.

«Дальше»,— говорили глаза мумии.

— Это всего-навсего,— негромко продолжал полковник,— пачка старых журналов, что копятся на чердаке, прежде чем полыхнуть языками забытых истин. Это — связка папируса, оставленная на осеннем поле задолго до Исхода, это картонное перекасти-поле, отнятое ветром у времени и гонимое то вослед ушедшим сумеркам, то навстречу грядущему рассвету... Может, это обрывки никотиново-дурманных видений, что развеваются на флаг-

штоке, суля каждому все на свете и еще кое-что в придачу... Это карта Сиама и верховьев Голубого Нила, это дьявольски пыльный жар пустыни, конфетти оброненных билетов, пожелтевшие и припорошенные песком дорожные атласы, дальняя поездка, которой не будет, и отчаянная вылазка, которая начинается во сне. А тело?... М-м-м... оно... из увядших букетов многочисленных свадеб, из тягостных давних похорон, из телеграфных лент, что опоясали землю после отгремевшего марша, из старых расписаний ночных поездов для недремлющего фараона. Сгодились и письменные обязательства, обесцененные акции, мятые расписки. Даже цирковые афиши — видишь? Вот здесь, где грудная клетка. Плакаты, сорванные со стен в деревне Северный Шторм, что в штате Огайо, и переправленные на юг, поближе к Гармонии, штат Техас, или на Землю Обетованную, где царствует Калиф Орния! Протоколы о намерениях, объявления о помолвках и крещениях... все, что возникло из нужды и надежды, первая монетка в кармане, доллар в рамочке над стойкой бара. Обои, прожженные испепеляющими взорами, а на них надпись, вытравленная глазами мальчиков и девочек, старых неудачников и придавленных годами женщин: «Завтра! Да! Быть посему! Завтра!» Здесь все, что умирало много ночей подряд и сно-



ва возрождалось, здесь хвала человеческому духу, а кое-где редкие новые рассветы. Бессловесные и самые причудливые тени, какие только ты можешь вообразить, а я — мысленно нарисовать тушью в три часа ночи. Все перемолото до неузнаваемости, а потом слеplено нашими собственными руками у нас же на глазах. Вот это он и есть — старый правитель, фараон Седьмой Династии Священного Праха Собственной Персоной.

— Ничего себе! — вырвалось у Чарли.

Полковник опустилсЯ в кресло и опять стал раскачиваться, прикрыв глаза и улыбаясь.

— Полковник, — Чарли бросил взгляд в будущее, — а вдруг мне в старости вовсе и не потребуетсЯ никакая мумия?

— Это как?

— Ну, если у меня в жизни будет полно всякой всячины: некогда будет скучать, найдетсЯ интересное дело, которым я и займусь, каждый день будет прожит с толком, каждый вечер — с приключениями, по ночам буду крепко спать, по утрам — просыпаться с радостью, буду много смеяться и к старости приду на всех парусах, что *тогда*, полковник?

— Тогда, парень, ты будешь самым счастливым человеком на всем белом свете, клянусь Богом!

— Хотите знать, полковник,— Чарли смотрел на него круглыми немигающими глазами,— что я решил? Я стану великим писателем.

Полковник остановил качалку и взгляделся в чистый огонь, озаривший детское лицо.

— Боже правый, я это *вижу*. В самом деле. Так оно и будет! Ладно, Чарльз, тогда, дожив до старости, ты найдешь какого-нибудь парня, которому повезло меньше твоего, и передашь ему Озириса-Ра. Может, твоя жизнь и будет полной чашей, но другим, заплутавшим в дороге, очень кстати придется наш египетский друг. Договорились? Договорились.

Отцвели последние огни фейерверка; среди нежных звезд плыли прощальные воздушные шары. Машины и горожане потянулись на покой, отцы и матери несли на руках сомлевших ребятишек. Проходя мимо дома полковника Стоунстила, некоторые участники этого тихого шествия заглядывали на веранду, чтобы помахать старику, мальчику и долговязому слуге, который скромно стоял поодаль. Вечер завершился навсегда. Чарли попросил:

— Расскажите еще что-нибудь, полковник.

— Нет. У меня все. Теперь послушай нашего приятеля. Пусть предскажет твое будущее, Чарли. Пусть навеет сюжеты для первых рассказов. Готов?

Налетел ветер: он проник в сухой папирус, поиграл ветхими лоскутами, привел в движение удивительные руки и чуть подрагивающие губы старого, то есть нового знакомого, ночного гостя, которому стукнуло четыре тысячи лет.

— Что он тебе вещает, Чарльз?

Чарли зажмурился, выждал и прислушался, согласно кивая; лишь когда по щеке сбежала одинокая слезинка, он нарушил молчание:

— Все как есть. Ну просто все. Все как я хотел.

## Примечания

С. 7. *Тойнби*, Арнольд (1889–1975) — английский историк, автор 12-томного труда «Постижение истории» (1934–1961), в котором изложил свою философию истории, свое видение циклического развития и упадка цивилизаций (на примере 26 народов). Подвергся суровой критике коллег, поскольку признавал за мифами и метафорами не меньшую значимость, чем за фактическими данными.

С. 20. ...1984 год не сулил никаких бед... — Аллюзия на роман-антиутопию Дж. Оруэлла «1984» (1949).

С. 21. *Когда «Игл» опустился на Луну, позволив сделать гигантский скачок для всего человечества.* — «Это маленький шаг для одного человека, но гигантский скачок для всего человечества» — первые слова, которые произнес астронавт Нил Армстронг 21 июля 1969 года, ступив на поверхность Луны из спускаемого аппарата «Игл».

С. 59. *Вагон заполнили интеллектуалы, посетившие цикл семинаров на тему «тошноты» Сартра; воздух источался и кипел от их разглагольствований о Симоне де Бовуар.* — Жан-Поль Сартр (1905–1980) — французский философ-экзистенциалист, писатель; его роман «Тошнота» (1938) написан в форме дневника некоего Антуана Рокентина, который, будучи не в состоянии обрести веру или воздействовать на окружающую действительность, проникается абсурдностью существования. Симона де Бовуар (1908–1986) — французская писательница, ученица и сподвижница Сартра.

«Рождественская песня» (1843) — первая из «Рождественских повестей» Чарльза Диккенса (1812–1870).

«Грозовой перевал» (1847) — роман Эмили Бронте (1818–1848).

«Поворот винта» (1898) — новелла Генри Джеймса (1843–1916). (См. прим. к с. 318.)

«Ребекка» (1938) — самый известный роман Дафны Дюморье (1907–1989), внучки Джорджа Дюморье (см. прим. к с. 182).

«Лапка обезьяны» (1902) — рассказ У. У. Джейкобса (1863–1943).

С. 60. «Так слушай... <...> И помни обо мне!» — У. Шекспир. Гамлет. Перевод М. Лозинского / Полное собрание сочинений в восьми томах: Том 6. М., 1960. С. 33–35.

С. 61. «Начать с того, что Марли был мертв...» — Ч. Диккенс. Рождественские повести / Собрание со-

чинений в тридцати томах: Том 12. Перевод под редакцией О. Холмской. С. 7.

*«Я — Святочный Дух Прошлых Лет»!* — Там же, с. 32.

*«Повозка-призрак выскользнула из тумана и с цоканьем скрылась во мгле...»* — Из рассказа «Повозка-призрак» (1885) Редьярда Киплинга (1865–1936).

*Все бьется, бьется, бьется под досками пола старое сердце-обличитель!* — парафраз финала рассказа Эдгара По (1809–1849) «Сердце-обличитель» (1843).

*«Негромкий, протяжный и невыразимо тоскливый вой пронесся над болотами».* — А. Конан Дойл. Собака Баскервиль. Перевод Н. Волжиной / Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3. М., 1966. С. 69.

С. 108. *Ты все еще тверда в непорочности своей...* — парафраз библейского выражения «Ты все еще тверд в непорочности твоей!» (Иов 2:9).

С. 122. *Он прозвал ее Стэнли, она называла его Олли.* — Стэнли Лорел и Оливер Гарди — псевдонимы популярных американских актеров-комиков первой половины XX века Артура Стэнли Джефферсона (1890–1965) и Норвелла Гарди (1892–1957). См. также рассказ Р. Брэдли «Опять влипли» (в кн.: Р. Брэдли. В мгновенье ока. Перевод Е. Петровой. М. — СПб., 2004).

С. 123. *...Лорел и Гарди в тысяча девятьсот тридцатом году волокли по лестнице пианино в ящике: полторы сотни ступенек вверх, а потом кубарем вниз!* — Имеется в виду короткометражка «Музыкальный ящик», получившая в 1932 году «Оскара»; также упоминалась в рассказе «Опять влипли» (см. выше).

С. 128. *Уильям Филдз* — Уильям Клод Дюкенфилд (1880—1946) — знаменитый американский актер-комик.

*Марлен Дитрих* (Мария Магдалена фон Лош, 1901—1992) — немецкая, а с конца 1930-х гг. американская кинозвезда и певица.

С. 129. *Фред Астер* (Фредерик Аустерлиц, 1899—1987) — выдающийся американский танцовщик и киноактер, снимался преимущественно в музыкальных комедиях.

*Роналд Колмэн* (1891—1958) — американский киноактер, уроженец Великобритании, создавший в американском кинематографе тип рафинированного британского джентльмена.

*Джин Харлоу* (Харлин Карпентьер, 1911—1937) — американская кинозвезда, эталонная платиновая блондинка; один из секс-символов Голливуда 1930-х гг.

С. 130. *Как у Хемингуэя в одном романе — ночью двое едут в машине и говорят: как нам хорошо было бы вместе, а сами знают, что все кончено...* — Имеется в виду финал вышедшего в 1926 году романа Э. Хемингуэя (1898—1961) «И восходит солнце» («Фиеста»).

С. 143. *День поминовения* — день памяти павших в гражданской войне в США 1861—65 гг., в испано-американской и других войнах. Отмечается 30 мая.

С. 159. *...совесть и раздумья, что людей пугают по ночам, восстанут и взовут: Гамлет, узнаешь ли меня? Макбет, ты отмечен, и ты отмечена, леди Макбет! Берегись, Ричард Третий, в твой стан придем с восходом солнца, и кровью пропитаются одежды.* — Вольное пере-

ложение фраз из пьес У. Шекспира «Гамлет», «Макбет» и «Король Ричард III».

С. 160. *В рядах славного «Лафайета»*. — Созданная в годы Первой мировой войны эскадрилья «Лафайет», которая базировалась во Франции, была укомплектована почти исключительно американскими летчиками-добровольцами. Ее история легла в основу одноименного фильма с участием Клинта Иствуда (1958).

*Рикенбакер*, Эдди (1890—1973) — авиатор, позднее промышленник; в годы Первой мировой войны — лучший американский летчик-истребитель.

*Красный Барон* — Манфред фон Рихтгофен (1892—1918) — выходец из титулованной немецкой семьи, один из асов военно-воздушных сил Германии времен Первой мировой войны. Получил прозвище Красный Барон, так как его боевой самолет был выкрашен в яркий цвет. Погиб в небе под Амьеном (Франция).

С. 162. *Глория Свенсон* (1897—1983) — американская актриса, звезда немого кино.

*...отправился... в Африку снимать львов и туземцев для фильма «Копи царя Соломона»*. — Имеется в виду выпущенная в 1937 г. первая из трех экранизаций одноименного романа (1885) Г. Р. Хаггарда (1856—1925) с Полом Робсоном и Седриком Хардвиком в главных ролях; вторая вышла в 1950 г., третья — в 1985-м.

С. 174. *Банши* (букв. «женщина из садов») — привидение-плакальщица в ирландском и шотландском фольклоре; дух, появление и вопли которого предвещают смерть.



С. 175. ...*перед домом кинорежиссера, моего работодателя.* <...> *Возникший на пороге Джон Хэмптон...* — Имеется в виду знаменитый американский режиссер Джон Хьюстон (1906—1987), в середине 1950-х гг. снимавший в Ирландии экранизацию романа Г. Мелвилла «Моби Дик» (1851) по сценарию Брэдбери; далее в рассказе фильм именуется «Зверь». Ирландские впечатления послужили Брэдбери источником вдохновения для ряда рассказов 1950—1990-х гг. и для романа «Зеленые тени, Белый кит» (1992).

С. 182. *Свенгали* — зловещий гипнотизер, персонаж романа Джорджа Дюморье (1834—1896) «Трильби» (1894).

С. 252. *Моррисовское кресло* — большое кресло с откидывающейся спинкой и снимающимися подушками. Названо в честь выдающегося английского художника и дизайнера Уильяма Морриса (1834—1896), близкого к прерафаэлитам.

С. 287. *Как сказано у Хемингуэя... этим можно утешаться, правда?* — «Этим можно утешаться, правда?» — заключительная фраза романа Э. Хемингуэя «И восходит солнце» («Фиеста»). Пер. с англ. И. Кашкина. См.: Э. Хемингуэй. Избранные произведения в двух томах: Том 2. М., 1953. С. 170. На эту же сцену этого же произведения Брэдбери ссылается в рассказе «Оливер и Гарди: Роман» (см. прим. к с. 130).

С. 317. *Тэрбер*, Джеймс (1894—1961) — американский писатель-юморист и карикатурист; сотрудничал с журналом «Нью-Йоркер».

*Уилла Кэтер* (1873–1947) — американская писательница; родилась и выросла в штате Небраска в период его заселения и много писала о жизни фронта.

*Карен Хорни* (1885–1952) — американский психотерапевт. Специализировалась в области женской психологии; во многом отошла от учения З. Фрейда.

*Юнг, Карл Густав* (1875–1961) — швейцарский психиатр; вначале сотрудничал с З. Фрейдом, потом основал свою школу.

С. 318. *Джон Колльер* (1901–1980) — английский писатель, современный классик «литературы о сверхъестественном»; лауреат премии им. Э. А. По за 1950 г.

*Сол Беллоу* (р. 1915) — один из крупнейших американских прозаиков XX в., лауреат Нобелевской премии по литературе 1977 г.

*Джон Андайк* (р. 1932) — американский писатель, автор социально-психологической и иронической прозы.

*Фрэнк О'Коннор* (1903–1966) — ирландский драматург и прозаик, популяризатор ирландской культуры и литературы (настоящее имя — Майкл О'Донован).

*Генри Джеймс* (1843–1916) — американский писатель, стоял у истоков модернизма в литературе; фоном действия большинства его книг служит сопоставление американской и европейской культурных традиций.

*Олдос Хаксли* (1894–1963) — английский писатель, автор знаменитой антиутопии «Дивный новый мир» (1932), исследователь измененных состояний сознания; в результате долгих духовных поисков пришел к буддизму.

С. 319. *Джон Чивер* (1912–1982) — американский писатель, социально-психологический реалист.

*Роб-Грийе*, Ален (р. 1922) — влиятельный французский писатель, один из родоначальников «нового романа».

*Кнут Гамсун* (Кнут Педерсен, 1859–1952) — норвежский писатель, на чье раннее творчество значительно повлияла философия Ницше; лауреат Нобелевской премии по литературе 1920 г.

С. 320. *Томас Лав Пикок* (1785–1866) — английский сатирик, поэт и эссеист.

С. 333. «*Пиноккио*» — из множества экранизаций знаменитой сказки Карло Коллоди (1826–1890) «Приключения Пиноккио» (1883) имеется в виду мультфильм, выпущенный студией Уолта Диснея в 1940 г.

«*Гражданин Кейн*» (1941) — знаменитый фильм Орсона Уэллса, одна из самых влиятельных картин американского кинематографа.

С. 347. *Стайнер*, Макс (Максимилиан Рауль Вальтер Штайнер, 1888–1971) — американский композитор австрийского происхождения, ученик Брамса и Малера; с 1929 г. написал музыку более чем к 250 кинофильмам.

*Корнгольд*, Эрих Вольфганг (1897–1957) — американский композитор чешско-австрийского происхождения; известен как музыкой для кино (преимущественно приключенческого), так и камерной, симфонической и др.

«*Мрачная победа*» (1939) — драма Эдмунда Гулдинга с Бетт Дэвис, Джорджем Брентом и Хамфри Богартом в главных ролях; в роли второго плана снялся Рональд Рейган, музыка Макса Стайнера.

«*Приключения Робина Гуда*» (1938) — классический фильм Майкла Кертиса и Уильяма Кейли с Эрролом Флинном, Оливией де Хэвиленд и Бэзилем Рэтбоуном в главных ролях; за музыку к этому фильму Э. В. Корнгольд получил «Оскар».

«*Елизавета и Эссекс*» (1939) — историческая драма Майкла Кертиса с Бетт Дэвис, Эрролом Флинном, Оливией де Хэвиленд и Винсентом Прайсом в главных ролях; музыка Э. В. Корнгольда.

«*Плыви вперед*» (1942) — психологическая драма Ирвинга Рэппера с Бетт Дэвис в главной роли; за музыку к этому фильму Макс Стайнер получил «Оскар».

«*Окаменевший лес*» (1936) — криминальная драма Арчи Майо с Лесли Говардом, Бетт Дэвис и Хамфри Богартом в главных ролях; музыка Бернхарда Кауна.

С. 348. «*Деревья создает лишь Бог*» — заключительная строчка стихотворения «Деревья» (1917) американского поэта Джойса Килмера (1886–1918).

«*Подъем и разрушение Римской империи*» — см. «Упадок и разрушение Римской империи» (3 тт., 1776–1781) английского историка Эдварда Гиббона (1737–1794).

...«*Счастливчик Линди... “Дух Сент-Луиса”, плыви в вышине... крепись, мы с тобой*». — Из песни Вольфа Гильберта и Абея Базра «Счастливчик Линди», посвящен-

ной полету Чарльза Линдберга на самолете «Дух Сент-Луиса» — первому в истории трансатлантическому перелету (1927).

С. 379. *День труда* — ежегодный праздник в США, который отмечается в первый понедельник сентября; для американских школьников также знаменует окончание летних каникул.

С. 381. *Город — Красное море. Я повелеваю ему: расступись! Мы идем!* — Аллюзия к библейской истории о том, как Моисей со своим народом, дабы оторваться от преследования египтян, приказал Красному морю расступиться (Исх. 14:21).

С. 384. *Не бороздят ли озеро железные «Мониторы» и «Мерримаки»...* — «Монитор» — броненосное судно севе-верян, «Мерримак» — южан; 9 марта 1862 г. между ними состоялся бой возле гавани Норфолка, штат Виргиния, — первое в истории столкновение броненосных ко-раблей. И если «Мерримак» — это был обычный фрегат, обшитый бронеплитами, то сконструированный Джо-ном Эриксоном «Монитор» представлял собой корабль небывалого прежде типа и дал название новому классу военных судов.

Елена Петрова

# Содержание

Конвектор Тойнби . . . . .	7
Лаз в потолке . . . . .	27
Восточным экспрессом на север . . . . .	46
Одна-единственная ночь . . . . .	69
К западу от Октября . . . . .	84
Последний цирк . . . . .	110
Лорел и Гарди: роман . . . . .	122
Спроси, зачем мы пришли . . . . .	137
Прощай, «Лафайет»! . . . . .	157
Банши . . . . .	174
Обещания, обещания . . . . .	197
Любовная история . . . . .	214
За хозяина глоток да глоток на посошок! . . . . .	233

В июне, в темный час ночной . . . . .	252
От греха моего очисти меня . . . . .	270
По уставу . . . . .	280
Вздорные нотки . . . . .	295
Задача на деление . . . . .	315
Приезжайте вместе с Констанс! . . . . .	324
Младшенький . . . . .	340
Надгробный камень . . . . .	354
Нечисть над лестницей . . . . .	366
Подлинная египетская мумия работы полковника Стоунстила . . . . .	377
Примечания . . . . .	404

THE TOYNBEE  
CONVECTOR



# RAY BRADBURY

Рэй Брэдбери — гуру и пророк. Те, кому суждено влюбиться, узнают по нему друг друга. Родители передают его детям. Дети — своим детям. Брэдбери — пророк новозаветный, для всех. Для него нет ни эллина, ни иудея.

Члены секты Брэдбери — не различают пол, возраст, вероисповедание и культурную принадлежность. Звание — человек. Место жительства — Земля. Культурная принадлежность — принадлежность к культуре. Вероисповедание — мудрость и добро. Общечеловеческая правда и внутренняя свобода. Ну и конечно же — вера в чудеса, иначе какой же это Брэдбери!

Важно, что к своим восьмидесяти восьми он не изменился. Крыша у него не съехала. Душа не протухла. Мозги не прокисли. И стекла очков не запотели.

Он по-прежнему говорит со всеми нами — членами своей секты. По-прежнему — об очень важных вещах. Своим негромким, но глубоким голосом.

*Юлия Беломлинская  
(Русский журнал)*

ISBN 978-5-699-27405-5



9 785699 274055 >